

**Владимир  
Набоков**

**CoRpus**

**Полное собрание рассказов**



Набоковский корпус

Владимир Набоков

**Полное собрание рассказов**

«Издательство АСТ»

1920–1951

УДК 821.111-32(73)

ББК 84(7Coe)-44

## **Набоков В. В.**

Полное собрание рассказов / В. В. Набоков — «Издательство АСТ», 1920–1951 — (Набоковский корпус)

ISBN 978-5-389-08436-0

Английское собрание короткой прозы Владимира Набокова (1899-1977), выпущенное сыном писателя в 1995 году хорошо известно на Западе. Однако на русском языке, на котором Набоков написал большинство своих рассказов, книга долгое время не издавалась. Благодаря многолетней работе исследователей составленный Дмитрием Набоковым том пополнялся новыми произведениями, в результате чего к 2008 году под одной обложкой удалось собрать свыше шестидесяти рассказов, написанных Набоковым в 1920-1951 годах в европейской эмиграции и в Америке. Кроме известных произведений, в настоящем полном собрании рассказов представлены редкие ранние сочинения, а также предисловия и заметки Набокова из английских сборников. В Приложении публикуются сочинения, не входившие в предыдущие сборники рассказов. Издание снабжено предисловием и примечаниями Д. Набокова, значительный свод сведений читатель найдет также в комментариях редактора и составителя сборника Андрея Бабикова. Английские рассказы печатаются в переводе Геннадия Барабтарло, подготовленном при участии Веры Набоковой. Сохранены особенности орфографии, пунктуации и транслитерации переводчика. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-32(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-08436-0

© Набоков В. В., 1920–1951

© Издательство АСТ, 1920–1951

## Содержание

От редактора	7
Дмитрий Набоков	13
Рассказы, написанные по-русски	20
Нежить	20
Слово	22
Удар крыла	24
Звуки	36
Боги	43
Говорят по-русски	47
Мечь	52
Благость	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# **Владимир Набоков**

## **Полное собрание рассказов**

Copyright © Dmitri Nabokov, 1995, 2002, 2006, 2008

All rights reserved

© А. Бабилов, составление, перевод, редакторская заметка, комментарии, 2012, 2016, 2019, 2023

© Г. Барабтарло (наследники), перевод, примечания, 1998, 2012, 2016, 2019

© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Издательство CORPUS ®

## От редактора

Весной 1971 года американский профессор русской литературы Стивен Ян Паркер встретился с Владимиром Набоковым в «Монтрё-Палас», чтобы составить список его русских и английских рассказов и установить их точную хронологию. В то время еще не были переизданы многие произведения Набокова, печатавшиеся в русских эмигрантских газетах в 1920–1930-х годах, и задача состояла в том, чтобы решить, какие рассказы заслуживают перевода на английский язык и включения в новые сборники. К началу 1973 года в результате переписки Паркера с Набоковым и нового визита исследователя в Швейцарию было отобрано около пятидесяти рассказов и подготовлены различные версии их английских названий. Паркер готовил к публикации свое интервью с Набоковым и записывал сделанные писателем замечания о его собственных или чужих произведениях: «<...> он равнодушен к рассказам Исаака Бабеля и к одесскому культу в целом; “Пещеру” Замятина он назвал “совершенно изумительным рассказом”; он не мог вспомнить, почему посвятил свою “Обиду” Ивану Бунину, – возможно, оттого, что рассказ близок по тону и содержанию к некоторым лучшим его произведениям; <...> он не согласен с мнением Эндрю Филда<sup>1</sup>, что “Картофельный эльф” его лучший рассказ»<sup>2</sup>. На вопрос: «Не могли бы вы дать определение рассказу как самостоятельному жанру, если, конечно, вы считаете его таковым?» – Набоков предложил аналогию из энтомологии: «Многие широко распространенные виды чешуекрылых производят выше границы распространения леса мелкие, но не обязательно чахлые разновидности. Рассказ по отношению к типичному роману представляет собой небольшую альпийскую или полярную форму. Он выглядит иначе, но относится к тому же биологическому виду и связан с ним переходными клинами»<sup>3</sup>.

Вскоре после того, как часть русских рассказов Набокова была издана в английских переводах в новых сборниках «Красавица» (1973) и «Истребление тиранов» (1975), к нему в мае 1975 года обратился глава «Ардиса» Карл Проффер с предложением выпустить большое собрание его русских рассказов в двух или трех томах, расположив их по тематическому или хронологическому принципу. Набоков ответил согласием: «Русских рассказов хватит на два тома, десятка по два на каждый, – сообщила Профферу Вера Набокова. – Хронологическая последовательность нас вполне устраивает»<sup>4</sup>.

Занятый в то время сочинением нового романа «Оригинал Лауры» («The Original of Laura»), Набоков намеревался приступить к подготовке такого издания весной 1976 года. Он хотел собрать разрозненные, не входившие в предыдущие сборники рассказы и «перевести на русский и внести в оригинальные тексты [рассказов] все изменения, сделанные в английских версиях»<sup>5</sup>; этот замысел не осуществился из-за болезни и последовавшей вскоре смерти Набокова в 1977 году. Работа над книгой была продолжена вдовой и сыном писателя, взявшими на себя труд составить еще более обширное собрание русских и английских рассказов, чем то, которое предлагал издать Проффер, включающее малоизвестные и архивные сочинения Набокова. Возможность выпустить такую книгу (по-английски) появилась лишь в середине 1990-х годов в результате многолетней работы по изучению архивных материалов и розыску редких газет и журналов, в которых печатались рассказы Набокова его эмигрантской поры.

<sup>1</sup> Первый биограф Набокова и составитель библиографии его произведений.

<sup>2</sup> Parker S. J. Vladimir Nabokov and the Short Story // Russian Literature Triquarterly. 1991. № 24. P. 64–65.

<sup>3</sup> Ibid. P. 69. В оригинале специальный термин «cline» (клина, клинальная изменчивость) – непрерывный ряд различий в функциях или структуре, проявляемых представителями вида в пределах ареала.

<sup>4</sup> Переписка Набоковых с Профферами / Публ. Г. Глушанок и С. Швабрина. Пер. с англ. Н. Жutowской // Звезда. 2005. № 7. С. 158.

<sup>5</sup> Там же. С. 162.

В большой том рассказов, составленный Дмитрием Набоковым и изданный в 1995 году, спустя двадцать лет после ардисовского проекта, вошло несколько никогда не печатавшихся произведений (в его переводах на английский), среди которых: «Говорят по-русски», «Звуки», «Боги», «Венецианка». Однако и это обширное собрание в продолжение еще двенадцати лет пополнялось новыми произведениями: в конце 1990-х годов С. Польская нашла труднодоступный номер «Иллюстрированного приложения к газете “Эхо”» с рассказом Набокова 1925 года «Пасхальный дождь»; в 2005 году по просьбе Дмитрия Набокова я выслал ему копию страницы берлинского «Руля» с рассказом «Слово» для перевода на английский язык, а в следующем году – разобранный мною по архивной рукописи текст «Наташи». Итоговый конволют, состоящий из 57 русских рассказов, 10 английских (считая с «Первой любовью») и одного французского (переведенного самим Набоковым на английский и русский), выпущенный Д. Набоковым в 2008 году, вместил в себя все известные напечатанные (многие лишь единственный раз в эмигрантских повременных изданиях) и не выходившие в свет при жизни автора рассказы, а также некоторые отложившиеся в архиве писателя произведения. Из обнаруженных или известных к тому времени сочинений в него не вошли лишь незавершенные вещи, как, например, энтмологический рассказ «The Admirable Angewing» («Углокрылый адмирал»), относящийся к 1959 году. Считается утраченным рассказ «Порыв» (1924), машинописный текст которого Набоков послал одному из редакторов парижского журнала «Современные записки». Вполне возможно, что рукопись этого рассказа была позднее либо уничтожена, либо утеряна самим Набоковым; во всяком случае, в его архивах обнаружить ее не удалось (см. наш комментарий к рассказу «Ужас»). Не включен в настоящее собрание спортивный очерк-репортаж Набокова о боксерском поединке «Брайтенштретер – Паолино», который был опубликован в рижской газете «Слово» как рассказ (*Сирин В.* Брайтенштретер – Паолино. Рассказ // Слово. 1925. 28, 29 декабря).

Первый сборник своей короткой прозы, названный по одному из рассказов, составивших его, «Возвращение Чорба», Набоков выпустил в 1929 году в берлинском издательстве «Слово». Рассказы в нем были дополнены стихами 1924–1928 годов по примеру книг И. Бунина «Роза Иерихона» и «Митина любовь», выходивших в 1920-е годы (на подаренном Бунину экземпляре своего сборника Набоков сделал следующую надпись: «Великому мастеру от прилежного ученика. Берлин – XII–29»). Сборник составили 15 рассказов, написанных в Берлине в 1924–1927 годах, лучшим из которых Набоков считал «Путеводитель по Берлину». Для книжных изданий Набоков, как правило, создавал новые редакции своих ранних рассказов, исправляя ошибки или неточности, устраняя длинноты, добиваясь большей выразительности. Так, к примеру, в «Картофельном эльфе» (1924), который был подвергнут значительной переделке, в описании сестер-акробаток: «обе полураздетые, смуглые, черноволосые, с длинными синими глазами цвета павлиньей шеи», Набоков снял анатомическую чехарду (глаза цвета... шеи): «обе полураздетые, смуглые, черноволосые, с длинными синими глазами». В некоторых случаях (как позднее в собственных английских переводах рассказов и романов) он вносил и довольно существенные изменения. В газетной публикации «Картофельного эльфа» возраст карлика – двадцать девять лет, а в сборнике «Возвращение Чорба» (и в позднем английском переводе рассказа) – двадцать лет. Некоторые изменения диктовались, по-видимому, соображениями хорошего тона: что было позволено начинающему автору в газетной публикации, то не было к лицу известному и остепенившемуся писателю в сборнике стихов и рассказов, опубликованному солидным издательством. Образ могучего француза в той же фривольной сцене с сестрами-акробатками в книжном издании отличается от текста газетной публикации: «в ту же минуту со стуком отпахнулась дверь, и, в белом, как мрамор, трико, вошел француз, партнер акробаток»; в газетной публикации: «в ту же минуту со стуком отпахнулась дверь, и, в белом,



как мрамор, трико, сверкая мышцами, искрами серебра, плотной чешуей суспензория, вошел француз-акробат, любовник обеих сестер»<sup>6</sup>.

Второй сборник, «Соглядатай», включал в себя помимо небольшого романа, давшего заглавие книге, 12 рассказов и вышел в 1938 году в издательстве «Русские записки», выпускавшем в Париже одноименный журнал и печатавшем книги в Шанхае. 3 мая 1938 года издатель «Русских записок» М. Н. Павловский писал Набокову из Шанхая:

Дорогой Владимир Владимирович,

Мы приступили к печатанию Вашей книги рассказов и обнаружили, что если в нее включить все данные Вами рассказы (21), то получится не менее 350 стр. – формата изданий «Петрополис» 5 – ½ × 7 – ¾ дюймов. Так как увеличить пропорционально цену нет практической возможности, мы надумали следующую комбинацию.

В одну книгу (под заголовком «Соглядатай») мы дадим 13 рассказов: Соглядатай, Обида, Лебеда, Terra Incognita, Встреча, Хват, Занятой человек, Музыка, Совершенство, Пильграм, Случай из жизни, Красавица и Оповещение. Это составит книжку в 230–240 страниц.

Остальное мы хотели бы издать второй книгой, в которой к 8-ми рассказам (Круг, Королек, Адмиралтейская игла, Тяжелый дым, Памяти Шигаева, Набор, Весна в Фиальте и Озеро, облако, башня) мы добавили бы пьесу «Событие», что дало бы книжку тоже в 230–245 стр. Заглавием хотелось бы дать «Весна в Фиальте» и дать этот рассказ первым (пьеса – в конце).

Сделать это мы можем, конечно, при условии Вашего на то согласия. <...> В случае Вашего согласия, вторую книгу «Весна в Фиальте» мы выпустим осенью, и, разумеется, по ней у нас с Вами будут такие же расчеты, как и по первой. <...>

*Ваш М. Павловский*<sup>7</sup>

Набоков ответил согласием; 3 июня 1938 года Павловский выслал для него в Париж экземпляры напечатанного сборника. 29 июня Набоков писал ему из Ментоны: «Получил 2 экземпляра “Соглядатай” и аванс за “Весну в Фиальте” (полторы тысячи фр.<анков>). Благодарю вас. Мне чрезвычайно понравилась внешность “Соглядатай” – и у вас гениальный корректор!»<sup>8</sup>.

Третий сборник рассказов, «Весна в Фиальте», из-за начавшейся войны издан не был и увидел свет лишь в 1956 году в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова». В него вошло 14 рассказов, написанных в Германии и Франции в 1930-х годах, и «Ultima Thule», одна из глав незавершенного романа «Solus Rex» (1940), который Набоков сочинял в Париже перед отъездом в США. В 1976–1978 годах сборники «Возвращение Чорба», «Соглядатай» и «Весна в Фиальте» были переизданы «Ардисом» (Анн Арбор).

Переехав в Америку и перейдя на английский язык, Набоков выпустил несколько сборников своих русских рассказов в переводах (нередко внося разного рода уточнения или изменения), а также рассказов, написанных по-английски и публиковавшихся им с 1943 по 1952 год в периодических изданиях: «Девять рассказов» (1947), «Набокова дюжина» (1958), «Квартет Набокова» (1966), «Русская красавица и другие рассказы» (1973), «Истребление тиранов и

<sup>6</sup> В декабре 1929 г., к выходу сборника «Возвращение Чорба», рассказ был перепечатан в газете «Руль» в новой книжной версии. Сверка двух редакций рассказа выявила множество расхождений и сокращений, сделанных в более поздней версии; в нескольких случаях фрагменты текста, иногда довольно значительные, выпали, по-видимому, при перепечатке, а не в результате авторских сокращений; см. публикуемый нами текст первой газетной версии рассказа в *Приложении*.

<sup>7</sup> *Шруба М.* «Меценат изумительный!»: издательская деятельность М. Н. Павловского // Издательское дело российского зарубежья XIX–XX вв. / Отв. ред. П. А. Трибунский. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2017. С. 106–107.

<sup>8</sup> Там же. С. 107.

другие рассказы» (1975), «Подробности заката и другие рассказы» (1976). Одиннадцать рассказов, включая семь английских, Набоков выбрал для представительного однотомного собрания своих сочинений: *Nabokov's Congeries*. Viking Press, 1968.

Английские рассказы Набокова в 1980-х годах перевел на русский язык Г. Барабтарло в сотрудничестве с Верой Набоковой; они печатались в периодических изданиях и вошли в книгу «Быль и убыль» (2001). В том же году были опубликованы переводы Д. Чекалова («Сотна коробок»).

После того как Д. Набоков предоставил тексты трех неизвестных русских рассказов Набокова для публикации в журнале «Звезда» (1996. № 11), все опубликованные к тому времени русские и английские рассказы Набокова (последние в переводах С. Ильина) вошли в собрание сочинений писателя, выпущенное издательством «Симпозиум» в 1997–2000 годах. В это издание не вошли: «Говорят по-русски», «Звуки», «Боги», «Дракон» и «Наташа».

Рассказы «Говорят по-русски», «Звуки» и «Боги» подготовлены к печати по архивным текстам, предоставленным нам Д. Набоковым в 2009 году; «Наташа» подготовлена (при участии Г. Барабтарло) по черновой рукописи, хранящейся в архиве писателя в Библиотеке Конгресса США (Вашингтон); рассказ-пародия без заглавия («Человек остановился») печатается (в *Приложении*) по авторской рукописи (архив Набокова в коллекции Бергов, Публичная библиотека Нью-Йорка); «Венецианка» и «Дракон» публикуются по тексту журнала «Звезда» (первый – 1996. № 11, второй – 1999. № 4). Основная часть русских рассказов Набокова публикуется по тексту тех трех русских сборников, которые были составлены и выпущены им самим. Рассказы, не вошедшие в эти сборники, печатаются по текстам первых публикаций в периодических эмигрантских изданиях.

В отличие от собрания рассказов, составленного сыном писателя, помещавшим вновь найденные произведения в конец книги при каждом ее новом переиздании (и по этой причине «Наташа» оказалась последней в череде рассказов в издании 2008 года), в настоящем издании рассказы публикуются в хронологическом порядке. Состав английского собрания рассказов отражен в примечаниях Д. Набокова, перевод которых публикуется в настоящем издании.

Поскольку рассказы Набокова довольно хорошо изучены и многим из них посвящены отдельные исследования, мы не предлагаем в нашем собрании подробных комментариев, отсылая читателя к примечаниям в собрании сочинений Набокова издательства «Симпозиум», а также к примечаниям Д. Набокова, заметкам В. Набокова и подстрочным примечаниям Г. Барабтарло в настоящем издании; исключение сделано, во-первых, для рассказов, оригинальные тексты которых впервые были опубликованы в подготовленном нами «Полном собрании рассказов» («Азбука», 2012), и, во-вторых, в тех случаях, когда наши собственные изыскания весомо дополняют или существенно уточняют наблюдения других исследователей.

Полное собрание рассказов Набокова имеет то несомненное преимущество перед вышедшими в разные годы русскими и английскими сборниками, что позволяет читателю сопоставить темы, мотивы, образы, сюжетные ходы, литературную, историческую и биографическую основы всего длинного и пестрого ряда написанных на двух языках произведений. Случайных и несамостоятельных вещей в жанре малой повествовательной прозы у Набокова значительно меньше, чем в его поэзии 1920-х годов. Почти все его рассказы предназначались для печати, сочинялись с оглядкой на общие литературно-эстетические предпочтения того или иного периодического издания, и при всем их стилистическом разнообразии, их можно классифицировать по различным категориям: окрашенные ностальгией ранние лирические этюды и автобиографические зарисовки («Нежить», «Слово», «Боги», «Звуки», «Пасхальный дождь», «Порт»); колоритные мистические и фантастические рассказы («Удар крыла», «Месть», «Гроза», «Венецианка», «Сказка», «Terra Incognita», «Посещение музея»,

«Быль и убыль», «Ланс»)<sup>9</sup>; опыты публицистического и сатирического характера, напоминающие эмигрантские газетные фельетоны («Говорят по-русски», «Дракон», «Бритва», «Рождественский рассказ», «Уста к устам», «Ассистент режиссера», «Жанровая картина, 1945 г.»); рассказы на литературные темы или рассказы, обнажающие литературные приемы («Пассажир», «Рождественский рассказ», «Уста к устам», «Адмиралтейская игла», «Забытый поэт»); мастерски написанные рассказы-памфлеты, направленные против коллективной жестокости, пошлости и политической диктатуры («Королек», «Облако, озеро, башня», «Истребление тиранов»); связанные с замыслами более крупных сочинений рассказы-«спутники» («Письмо в Россию», «Круг», «Сцены из жизни сросшихся близнецов»); драматические психологические новеллы с предметной детализацией, напоминающие поздние рассказы Чехова и лучшие рассказы Бунина («Звонок», «Подлец», «Пилигрим», «Красавица», «Тяжелый дым», «Случай из жизни», «Весна в Фиальте», «Лик»).

Одной из особенностей короткой прозы Набокова, как заметили Д. Б. Джонсон и Г. Барабтарло, стало использование приемов западных историй о призраках и рассказов-загадок (ghost story и riddle story) – «Месть», «Наташа», «Что как-то раз в Алеппо...», «Знаки и знамения», «Сестры Вэйн». Самые ранние из них, «Месть» и неопубликованная при жизни Набокова «Наташа», настолько явно подчиняются своему заданию (финальной загадке), что кажутся литературными упражнениями или подражаниями. Тот же прием подчинения композиции пуантированному финалу представляется намного менее искусственным в английском «университетском» рассказе «Сестры Вэйн», который Набоков считал одним из лучших своих рассказов<sup>10</sup>.

В настоящее издание собрания рассказов Набокова внесены различные поправки, восстановлены допущенные в предыдущих публикациях пропуски в рассказе «Удар крыла»<sup>11</sup>, дополнены комментарии редактора, в *Приложении* публикуются сочинения, до сих пор не входившие в отдельные сборники или собрания сочинений Набокова. В отличие от «Полного собрания рассказов», выпускавшегося петербургским издательством «Азбука» в 2012–2020 годах, из настоящего издания исключены две главы незавершенного романа «Solus Rex» и две главы мемуарной книги Набокова «Другие берега» («Mademoiselle O» и «Первая любовь»), которые изначально печатались в виде отдельных рассказов: эти произведения опубликованы в серии «Набоковский корпус» в составе соответствующих изданий: *Набоков В. Другие берега* / Заметка, примеч. А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2022; *Набоков В. Волшебник. Solus Rex* / Сост., заметка, примеч., статья А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2022.

Предисловия и примечания Владимира и Дмитрия Набоковых для настоящего издания переведены заново, в переводы и примечания Г. Барабтарло внесены уточнения.

Орфография и пунктуация приведены к современным нормам, с сохранением некоторых особенностей орфографии и транслитерации Набокова (написание слов шкап, чорт, счастье,

<sup>9</sup> Нам представляется довольно условным деление ранних рассказов Набокова на три категории, предложенное Мариной Науманн в пионерском исследовании, целиком посвященном рассказам Набокова (Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 20's. N. Y.: New York University Press, 1978): девятнадцать рассказов 1920-х гг. она поделила на реалистичные (6), реалистично-символические (8) и символические (5).

<sup>10</sup> В лекции «Советский рассказ» (1940) Набоков уделил внимание рассмотрению общих приемов советской и западной третьесортной литературы, среди которых отметил открытый финал («это просто знакомая нам жеманная ухмылка <...> которой завершаются сотни французских и английских рассказов с загадочным или практично-восстановительным финалом») и повторение «наихудших образцов банальности и пошлости <...>, криминальные триллеры, загадочные или мистические повестушки <...> и все такое прочее, находящее спрос во всех странах и при всех режимах» (Цит. по: Бабилов А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 284–287).

<sup>11</sup> Сердечно благодарю Павла Михайловича Лавринца за обсуждение набоковских публикаций в «Иллюстрированном приложении к газете “Эхо”» и щедрую помощь в розысках редких номеров этого издания.

свэтер, коктейль, Джэк и др.); кроме того, сохраняются особенности правописания переводчика. Конъектуры даны в угловых скобках.

В 2008 году я предложил Дмитрию Набокову подготовить первое русское издание полного собрания рассказов его отца и нашел в нем деятельного участника этого сложного проекта, осуществленного, к большому сожалению, лишь несколько лет спустя, в год его смерти. За разнообразную помощь по составлению книги, разбору архивных материалов, уточнению источников или биографических данных я глубоко признателен Никки Смит, Брайану Бойду и Геннадию Барабтарло, всегда отзывавшимся среди собственных трудов на мою просьбу.

*Андрей Бабинов*

## Дмитрий Набоков

### Предисловие<sup>12</sup>

Публиковавшиеся по отдельности в периодических изданиях и включавшиеся в различных сочетаниях в предыдущие сборники, пятьдесят два рассказа Владимира Набокова в конечном итоге составили четыре дефинитивных тома, выпущенных при жизни автора: «Nabokov's Dozen» [«Набокова дюжина»] и три другие «дюжины», по тринадцати рассказов в каждой: «A Russian Beauty and Other Stories» [«Красавица»], «Tyrants Destroyed and Other Stories» [«Истребление тиранов»] и «Details of a Sunset and Other Stories» [«Подробности заката»].

Набоков вынашивал мысль выпустить заключительную серию рассказов, но не был уверен, что наберется довольно сочинений, отвечающих его требованиям и достойных составить пятую набоковскую – или же числовую – дюжину. Его писательская жизнь была слишком насыщенной и оборвалась слишком внезапно, чтобы он успел сделать окончательный смотр. Он набросал короткий карандашный список рассказов, заслуживающих, по его мнению, публикации, и назвал его «Со дна жестянки». Он пояснил мне, что имел в виду не качество этих рассказов, а то обстоятельство, что среди произведений, доступных для рассмотрения в то время, они оказались последними, стоящими публикации. Тем не менее, после того как наш архив был упорядочен и тщательно проверен, мы с Верой Набоковой пришли в общей сложности к счастливому числу тринадцать – все эти произведения, по нашим осторожным оценкам, Набоков мог бы счесть приемлемыми. Таким образом, набоковский список «Со дна жестянки», помещенный в конце этого предисловия, следует считать неполным и предварительным: в нем значатся только восемь из тринадцати недавно отобранных рассказов, а помимо этого еще «Волшебник», не включенный в настоящее издание, но выпущенный по-английски отдельной книгой как повесть в 1986 году (переиздание – 1991)<sup>13</sup>. Кроме того, авторские рабочие названия для английских версий рассказов не во всех случаях соответствуют тем, под которыми они опубликованы в настоящем издании<sup>14</sup>.

Из списка, помеченного «Рассказы, написанные по-английски», также воспроизводимого после этого предисловия, Набоков исключил «Первую любовь» (впервые опубликованную под названием «Colette» [«Колект»] в журнале «Нью-Йоркер») – то ли по недосмотру, то ли по той причине, что это произведение преобразовалось в главу книги «Свидетельствуй, память» («Speak, Memory», первоначальное название – «Убедительное доказательство»). В верхнем левом углу списка имеются указания по оформлению текста, которые позволяют предположить (несмотря на то что они сделаны по-русски), что список этот был чистовым вариантом, подготовленным для машинописи. Оба факсимильных списка содержат некоторые неточности. К примеру, рассказ «Сестры Вэйн» был написан в 1951 году<sup>15</sup>.

Упомянутые четыре «дефинитивных» сборника были продуманы Набоковым до мелочей и выстроены по различным критериям – тема, время сочинения, атмосфера, однород-

<sup>12</sup> Предисловие Д. В. Набокова (1934–2012) для подготовленного им первого английского собрания рассказов Набокова (1995). Перевод выполнен по новому дополненному изданию: *The Stories of Vladimir Nabokov / Ed. by Dmitri Nabokov*. N. Y.: Vintage, 2008. (*Здесь и далее, если не указано иное, – прим. ред.*)

<sup>13</sup> Повесть «Волшебник» (1939), названная Набоковым рассказом в послесловии к «Лолите» (и в письме к М. А. Алданову от 31 марта 1955 г.: «“Lolita” – развитая окрыленная форма моего старого рассказа “Волшебник”») и в этом качестве включенная в его предварительный список последних неопубликованных рассказов «Bottom of the Barrel» («Со дна жестянки»), опубликована в серии «Набоковский корпус» в сборнике «Волшебник. Повесть. Solus Rex. Незавершенный роман» (2022).

<sup>14</sup> Д. Набоков изменил «Christmas Tale», предварительное авторское название «Рождественского рассказа», на более точное «The Christmas Story»; авторскому названию рассказа «Мечь», «Vengeance», он предпочел «Revenge».

<sup>15</sup> Набоков указал не дату сочинения рассказа, а дату его публикации – 1959 г.

ность, разнообразие. Все они должны сохранять свою «книжную» идентичность и в последующих переизданиях. Книга из тринадцати рассказов, опубликованная во Франции и Италии соответственно как «La Vénitienne» и «La veneziana» (по названию рассказа «Венецианка»), также, возможно, заслуживает права на отдельное англоязычное издание. В европейских странах эти тринадцать рассказов выходили и в сборниках, и по отдельности, а четыре предыдущие «дюжины» разошлись по всему миру, иногда в разных составах, как, например, недавно изданная в Израиле «Русская дюжина»<sup>16</sup>. О публикациях в постперестроечной России даже не хочу говорить: за редкими исключениями, там по сей день процветает колоссальных масштабов пиратство (во всех смыслах), хотя на горизонте забрезжили перемены к лучшему.

Настоящее полное собрание рассказов, не имеющее своей целью композиционно затмить предыдущие сборники, намеренно выстроено в хронологической последовательности – или в наилучшем возможном приближении к ней. С этой целью в некоторых случаях пришлось отказаться от установленного в более ранних изданиях порядка, а вновь собранные произведения – добавить в соответствующие места. Критерием выбора служило время сочинения рассказа. В тех же случаях, когда точная датировка оставалась неизвестной или спорной, учитывалась дата первой публикации или другие упоминания<sup>17</sup>. Одиннадцать из впервые включаемых в настоящее собрание тринадцати рассказов прежде не переводились на английский язык. Пять из них увидели свет лишь в недавних изданиях «новых» тринадцати на различных европейских языках. Дополнительные библиографические сведения и некоторые другие любопытные подробности приведены в конце этого тома.

Одним из очевидных преимуществ нового расположения рассказов является удобство в обозрении совершенствования Набокова как беллетриста. Интересно отметить и то, что векторы его творческого роста не всегда линейны: среди ранних, подчас незамысловатых рассказов порой сверкнет поразительно зрелая вещь. Пролитая свет на эволюцию творческого процесса и предоставляя увлекательные примеры овладения темами и приемами, которые будут использованы позднее, особенно в романах, рассказы Владимира Набокова тем не менее относятся к числу его наиболее доступных сочинений. Даже когда они каким-то образом связаны с более крупными вещами, они самодостаточны. Даже если их отличает многоуровневость прочтений, они требуют только нескольких литературных предпосылок. Они без всяких оговорок предлагают читателю вознаграждение, независимо от того, отважился ли он или нет уйти с головой в более крупные и глубокие произведения Набокова или погрузиться в его биографию.

За переводы «новых» тринадцати несу ответственность я один. До этого английские переводы почти всех рассказов, первоначально опубликованных на русском языке, были результатом безоблачного сотрудничества между отцом и сыном, но отец, как автор, мог свободно вносить изменения в переведенные тексты, если полагал это целесообразным. Можно предположить, что он поступил бы так же и с этими новыми переводами. Излишне говорить, что теперь, как единственный переводчик, я брал на себя смелость исправлять лишь явные описки или опечатки, а также недочеты редактирования, оставшиеся от прежних времен. Худшей из таких погрешностей оказался пропуск великолепной заключительной страницы рассказа «Ассистент режиссера» во всех англоязычных изданиях, следующих, по-видимому, за первым. Кстати, герой той песни, которая дважды пронизывает рассказ, – Стенька Разин, донской казак, бросивший в Волгу свою невесту.

Не скрою, что за время долгого вынашивания этого сборника я воспользовался уточнениями и комментариями дотошных переводчиков и редакторов недавно вышедших и готовив-

<sup>16</sup> Имеется в виду сборник, подготовленный в 1994 г. израильской переводчицей Нили Мирски.

<sup>17</sup> В 1995 г., когда впервые вышло большое собрание рассказов Набокова, еще не была закончена исследовательская работа по уточнению набоковской библиографии, вследствие чего некоторые рассказы были датированы неверно и помещены в книге с нарушением хронологии или с ошибочными датировками. В помещаемых нами в конце книги *Комментариях редактора* эти неточности исправлены.

шихся в это время переводов рассказов на другие языки, а также вездливости замечаниями тех, кто выпустил отдельные рассказы по-английски. Но как бы ревностно и педантично ни изучались тексты, какая-нибудь неуловимая мелкая рыбешка, а то и не одна, неизбежно проскользнет сквозь звенья невода. Тем не менее будущим редакторам и переводчикам следует знать, что настоящий том отражает то, что на момент его публикации являлось наиболее точными версиями английских текстов и – особенно в отношении тринадцати недавно собранных рассказов – лежащих в основе переводов русских подлинников (их расшифровка подчас представляла немалую трудность: в них встречаются возможные или вероятные описки автора или переписчика, требовавшие непростых решений, а порой – различные текстовые варианты).

Справедливости ради хочу с благодарностью отметить довольно неожиданно присланные мне предварительные переводы двух рассказов. Один прислал Чарльз Николь, другой – Геннадий Барабтарло. Оба перевода были оценены по достоинству; оба содержали *trouvailles*<sup>18</sup>. Однако для сохранения надлежащего стилистического единства я, как правило, не отступал от собственной английской манеры изложения. Я признателен Брайану Бойду, Дитеру Циммеру и Майклу Джулиару за их неоценимые библиографические разыскания. Но превыше всего я благодарен Вере Набоковой за ее бесконечную мудрость, необыкновенную проницательность и силу воли, благодаря которой она, несмотря на угасающее зрение и слабеющие руки, выполнила в самые последние дни своей жизни предварительный перевод нескольких отрывков рассказа «Боги».

В коротком предисловии невозможно охватить темы, приемы и образы, которые переплетаются и развиваются в этих рассказах: отголоски детства и юности Набокова, прошедших в России; его университетские годы в Англии; его жизнь эмигранта в Германии и Франции, Америка, которую ему пришлось «изобрести», как он выразился, после того, как он изобрел Европу. Если взять наугад какой-нибудь рассказ из новых тринадцати, то в «Венецианке», с ее неожиданным поворотом сюжета, любовь Набокова к живописи (которой он в детстве собирался посвятить свою жизнь) отражается на богатом фоне, где есть и теннис, в который он играл и который описывал с особым вкусом. Гамма остальных двенадцати рассказов варьируется от притчи («Дракон») и политической интриги («Говорят по-русски») до поэтического, его собственного вида импрессионизма («Звуки» и «Боги»).

В своих примечаниях (публикуемых в этом томе) Набоков раскрывает некоторые особенности рассказов из предыдущих сборников. Среди многого другого, к этому можно добавить жуткое удвоение пространства-времени («*Terra Incognita*» и «Посещение музея»), которое предвещает атмосферу таких произведений, как «Ада, или Отрада», «Бледный огонь» и, в определенной степени, «Сквозняк из прошлого»<sup>19</sup> и «Взгляни на арлекинов!» Увлечение Набокова бабочками становится ведущей темой «Пилыграма» и сквозит во множестве других рассказов. Но что более удивительно, так это то, что в рассказах важное место занимает музыка, к которой он никогда не проявлял большой любви («Звуки», «Бахман», «Музыка», «Ассистент режиссера»).

Особенно трогательный меня рассказ «Ланс» возвышенно описывает (как отец сказал мне) всю остроту и многообразие чувств, которые переживали мои родители в пору моего увлечения альпинизмом. Но, возможно, самая глубокая, самая важная тема, лежащая на поверхности или скрытая, – это набоковское неприятие жестокости – жестокости людей, жестокости судьбы, – и в этой книге примеров тому великое множество.

Дмитрий Набоков

<sup>18</sup> Находки, удачные решения (*фр.*).

<sup>19</sup> Бывшее в ходу у Набоковых (на что указал Г. Барабтарло) русское название романа «*Transparent Things*» (букв.: «Прозрачные вещи», 1972), по строке из стихотворения Набокова 1930 г. «Будущему читателю»: «Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк / из прошлого...» См.: Набоков В. Сквозняк из прошлого / Пер., статья, комментарии А. Бабинова. М.: АСТ: Corpus, 2023.

*Санкт-Петербург, Россия; Монтрё, Швейцария.  
Июнь 1995 г.*

История с находкой рассказа «Пасхальный дождь», теперь добавленного в настоящее собрание, изложена в заметке шеф-редактора гамбургского издательства «Rowohlt Verlag» Георга Хепе (Heepe). В ней, в частности, сообщается:

В 1987–1988 годах, когда мы готовили первое немецкое издание полного собрания рассказов, исследователь Набокова Дитер Циммер проверил все доступные библиотеки, как многообещающие, так и почти безнадежные, в поисках апрельского номера эмигрантской газеты «Русское эхо»<sup>20</sup> за 1925 год, в котором, как он знал, был напечатан «Пасхальный дождь». Он даже побывал по однодневному пропуску в тогдашнем Восточном Берлине, а кроме того, подумывал о посещении Deutsche Bücherei<sup>21</sup> в Лейпциге. Но надежда была слишком призрачной, а бюрократические препоны слишком суровыми. Было и еще одно соображение. Там могло не оказаться копировальной машины.

Когда мы уже опубликовали рассказы без «Пасхального дождя», до нас дошли слухи, что ученый из Швеции обнаружил рассказ в Лейпциге. К тому времени Железный занавес был поднят, и Циммер отправился проверить сообщение. Там он и нашелся – полный комплект еженедельника «Русское эхо». И теперь у них были «ксероксы».

Так «Пасхальный дождь», обнаруженный Светланой Польской, хотя ее имя стало нам известно лишь несколько лет спустя, и переведенный мною на английский в соавторстве с Питером Константайном для весеннего номера журнала «Conjunctions»<sup>22</sup> за 2002 год, был включен в этот том.

Дмитрий Набоков

*Вевер, Швейцария. Май 2002 г.*

С русским текстом «Слова» я впервые познакомился весной 2005 года; рассказ столь пронзительно эмоционален, что, прежде чем приступить к переводу, я вынужден был подавить в себе некоторые сомнения относительно его подлинности. Это был второй рассказ, опубликованный моим отцом, и первый, опубликованный после убийства в 1922 году его отца, Владимира Дмитриевича Набокова; написанный в Берлине, он появился в 1923 году в одном из январских номеров «Руля» – русской эмигрантской газеты, соиздателем которой в Берлине был отец Набокова. Как и «Ultima Thule», написанный годы спустя, «Слово» содержит всеобъясняющую тайну, которую нам не дано узнать. Подобно «Нежити» и раннему стихотворению «Революция»<sup>23</sup>, «Слово» проецирует идиллический, добрый мир на варварскую реальность, зловеще означенную местом этого произведения на страницах «Руля»: рассказ Набокова помещен следом за неоконченным фрагментом, вышедшим из-под пера его отца<sup>24</sup>.

«Слово», кроме того, принадлежит к очень немногим рассказам Набокова, в которых действуют ангелы. Это, конечно, сугубо личные воплощения, гораздо более тесно связанные с ангелами преданий, фантазий и фресок, чем с традиционными ангелами русского православия.

---

<sup>20</sup> Имеется в виду иллюстрированное приложение к газете «Эхо» (Ковно), которое печаталось в Берлине.

<sup>21</sup> Немецкая национальная библиотека (нем.).

<sup>22</sup> Выходящий дважды в год американский литературный журнал, основанный в 1981 г.

<sup>23</sup> Стихотворение 1917 г. «Революция» («Я слово длинное с нерусским окончанием...»), присланное отцом Набокова К. И. Чуковскому и включенное в его альманах «Чукоккала» (впервые: Наше наследие. 1989. № IV. С. 71).

<sup>24</sup> Рассказ был опубликован в рождественском номере «Руля» (7 января) после заметки В. Д. Набокова «Рождество Христово» (с. 9).



вия. Верно и то, что религиозные символы со временем стали все реже возникать в сочинениях Набокова после гибели его отца (см. рассказ «Удар крыла», где фигурирует совершенно другого вида ангел). Простодушная восторженность «Слова» сквозит и в более поздних вещах моего отца, но лишь мимолетно, в потустороннем мире, на который Набоков мог только намекать. Впрочем, он объяснил, что не смог бы сказать столько, сколько сказал, если бы не знал больше им сказанного.

Дмитрий Набоков

*Монтрё, Швейцария. Январь 2006 г.*

Летом 2006 года русский ученый Андрей Бабинов убедил меня, что неопубликованный рассказ «Наташа», написанный Набоковым около 1924 года и сосланный в вашингтонский архив Библиотеки Конгресса США, заслуживает освобождения. Сначала я перевел его на итальянский и опубликовал 22 сентября 2007 года в «Io Donna», приложении к газете «Corriere della Sera», позднее он вошел в большой том рассказов Набокова «Una bellezza russa e altri racconti»<sup>25</sup>, который увидел свет в издательстве «Adelphi» весной 2008 года. Мой английский перевод был напечатан в «Нью-Йоркере» 9 июня 2008 года, а теперь включен в это собрание.

Дмитрий Набоков

*Июнь 2008 г.*

---

<sup>25</sup> «Красавица и другие рассказы» (ит.).

## [ Bottom of the Barrel ]

<u>The Wingspoke</u>	(Udar Rigla, 1924)
<u>Vengeance</u>	(Mest', 1924)
	(Blagost', 1924)
<u>The Seaport</u>	(Port, 1924)
<u>Gods</u>	(Bogi, 1924)
<u>The Fight</u>	(Draka, 1924)
<u>The Razor</u>	(Britva, 1926)
<u>Christmas Tale</u>	(Rozhdestvenskiy rasskaz, 1928)
<u>The Enchanter</u>	(Volshhebnie, 1939)
	[unpublished]

Stories written in English

- 1 The Assured Producer, 1943
- 2 That in Aleppo Once, 1943
- 3 A Forgotten Post, 1944
- 4 Time and Tide, 1945
- 5 Conversation Piece 1945
- 6 Signs and Symbols 1948
- 7 Lance 1952
- 8 Scenes from the Life of a Gentle Monk 1958
- 9 The Vane Sisters 1959

Составленные Владимиром Набоковым списки рассказов для новых изданий: «Со дна жестянки» – отобранные им русские рассказы для перевода на английский язык и «Рассказы, написанные по-английски» (ок. 1976 г.)

## Рассказы, написанные по-русски (1920–1940)

### Нежить

Я задумчиво пером обводил круглую, дрожащую тень чернильницы. В дальней комнате пробили часы, а мне, мечтателю, померещилось, что кто-то стучится в дверь – сперва тихонько, потом все громче; стукнул двенадцать раз подряд и выжидательно замер.

– Да, я здесь; войдите...

Ручка дверная застенчиво скрипнула, склонилось пламя слезящейся свечи, и он бочком вынырнул из прямоугольника мрака – согнутый, серый, запорошенный пылью ночи, морозной и звездистой...

Знал я лицо его – ах, давно знал! Правый глаз был еще в тени, левый пугливо глядел на меня, продолговатый, дымчато-зеленый; и зрачок рдел, как точка ржавчины... А этот мшисто-серый клочок на виске да бледно-серебристая, едва приметная бровь, – а смешная морщинка у безусого рта, – как это все дразнило, бередило смутно память мою! Я встал, – он шагнул вперед.

Худое пальтишко застегнуто было как-то не так – по-женски; в руке он держал шапку, – нет, темный, неладный узелок, – шапки-то не было вовсе...

Да, конечно, я знал его – даже, пожалуй, любил, – только вот никак придумать не мог, где и когда мы встречались, а, верно, встречались мы часто, иначе я не запомнил бы так твердо вон этих бруснично-красных губ, заостренных ушей, кадыка забавного...

С приветливым бормотаньем я пожал его легкую, холодную руку, тронул спинку дряхлого кресла. Он сел, как ворона на пень, и заговорил торопливо:

– Так жутко на улицах. Я и зашел. Зашел проведать тебя. Узнаешь? Мы ведь с тобой, бывало, что ни день резвились вместе, аукались... Там – на родине... Неужто забыл?

Голос его словно ослепил меня, в глазах запестрело, голова закружилась; я вспомнил счастье, гулкое, безмерное, невозвратное счастье...

Нет, не может быть! Я – один... Это все лишь бред прихотливый! Но рядом со мной и вправду кто-то сидел – костлявый, нелепый, в ушастых немецких сапожках, и голос его звенел, шелестел, золотой, сочно-зеленый, знакомый, – а слова были все такие простые, людские...

– Ну вот – вспомнил... Да, я – прежний Леший, задорная нежить... А вот и мне пришлось бежать...

Он вздохнул глубоко, и почудились мне вновь – тучи шатучие, высокие волны листвы, блестящие бересты, что брызги пены, да вечный, сладостный гул... Он нагнулся ко мне, мягко заглянул в глаза:

– Помнишь лес наш, ель черную, березу белую? Вырубили... Жаль было мне нестерпимо; вижу, березки хрустят, валятся, – а чем помогу? В болото загнали меня, плакал я, выл, выпью бухал, – да скоком, скоком в ближний бор.

Тосковал я там; все отхлипать не мог... Только стал привыкать – глядь, бора и нет, – одно сизое гарево. Опять пришлось побродяжить. Подыскал я себе лесок – хороший лесок был – частый, темный, свежий, – а все как-то не то... Бывало, от зари до зари играл я, свистал неистово, бил в ладоши, прохожих пугал... Сам помнишь: заплутался ты однажды в глуши моей – ты и белое платице, – а я тропинки в узел связывал, стволы кружил, мигал сквозь листву, – всю ночь проморочил... Но я так только, шутки ради, даром что чернили меня... А тут я присмирел; невеселое было новоселье... Днем и ночью вокруг все трещало что-то. Сперва

я думал – свой брат, леший, там тешится; окликнул, прислушался. Трещит себе, громыхает, – нет, не по-нашему выходит. Раз, под вечер, выскочил я на прогалину – вижу, лежат люди – кто на спине, кто на брюхе. Ну, думаю, поразбужу их, расшевелю! Стал я ветвями встряхивать, шишками лукавлясь, шуршать, гукать... Битый час провозился – все ни к чему. А как ближе взглянул, так и обмер. У того голова на одной красной ниточке висит, у того вместо живота – ворох толстых червей... Не вытерпел я. Завыл, подпрыгнул и давай бежать...

Долго я скитался по лесам разным, а все житья нет. То тишь, пустыня, скука смертная, то жуть такая, что лучше и не вспоминать! Наконец решился: в мужичка перекинулся, в бродягу с котомкой, да и ушел совсем: прощай, Русь! Ну а там мне братец мой, Водяной, пособил. Тоже, бедняга, спасался. Все дивился он: времена, говорит, какие настали, – просто беда. И то сказать; он хоть и встарь баловался, людей там заманивал (уж очень был гостеприимен), да зато как лелеял, как ласкал их у себя на золотом дне, какими песнями чаровал! А нынче, говорит, все только мертвецы плывут, гроздьями плывут, видимо-невидимо, а влага речная что руда, густая, теплая, липкая; дышать нечем... Он меня и взял с собой. Сам-то в дальнем море мыкается, а меня на туманный бережок по пути посадил – иди, брат, найди себе кустик. Ничего я не нашел и попал сюда, в этот чужой, страшный, каменный город... Вот и стал я человеком, воротнички, сапожки, все как следует – даже научился говорить по-ихнему...

Он приумолк. Глаза его блестели, как мокрые листья, руки скрещены были, и в зыбком отблеске заплывшей свечи странно-странно мерцали бледные волосы, налево зачесанные.

– Я знаю, ты тоже тоскуешь, – снова зазвенел яркий голос, – но твоя тоска, по сравнению с моею буйной, ветровою тоской, – лишь ровное дыханье спящего. И подумай только: никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплескивает лунных заблестков, сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики – прежние голубые гусли легкого Полевого, соперника моего. Косматый, ласковый Постен покинул, плача, твой опозоренный, оплеванный дом, и зачихали рощи, умирительно-светлые, волшебнo-мрачные рощи...

А ведь мы вдохновенье твое, Русь, непостижимая твоя красота, вековое очарованье... И все мы ушли, изгнанные безумным землемером.

Друг, я скоро умру, скажи мне что-нибудь, скажи, что любишь меня, бездомного призрака, подсядь ближе, дай руку...

Зашипев, погасла свеча. Холодные пальцы коснулись ладони моей, грустный, знакомый смех прозвенел и умолк.

Когда я свет зажег, уж никого в кресле не было... никого... Только в комнате чудесно-тонко пахло березой да влажным мхом...

## Слово

Унесенный из дольней ночи вдохновенным ветром сновиденья, я стоял на краю дороги, под чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянec, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепительные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежащих где-то внизу, за мною. Душа была схвачена ощущением божественной разноцветности, воли и вышины: я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль, – и как ревниво, как сурово охранял я ее от дыхания исполинской красоты, окружившей меня... Эта мысль, это голое пламя страдания, была мысль о земной моей родине: босой и нищий, на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных, – и ветер, как предчувствие чуда, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал, вдоль дороги; вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня; крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные, выпуклые лепестки; запах их, сырой и сладкий, напоминал мне все лучшее, что изведаль я в жизни.

И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл... Толпой вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы, углом подняв сложенные крылья. Их поступь казалась воздушной, словно движение цветных облаков, прозрачные лики были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом, и скакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах: извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы, – и кружась, и взвиваясь, и сияя глазами, пронеслись мимо меня...

Крылья, крылья, крылья! Как передам изгибы их и оттенки? Все они были мощные и мягкие – рыжие, багряные, густо-синие, бархатно-черные с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов; иной из них, в каком-то дивном порыве, будто не в силах сдержать блаженства, внезапно, на одно мгновение, распахивал свою крылатую красоту, и это было как всплеск солнца, как сверканье миллионов глаз.

Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел: очи их – ликующие бездны, в их очах – заморанье полета. Шли они плавной поступью, осыпаемые цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск; играли, крутятся и взвиваясь, яркие гладкие звери; блаженно звенели птицы, взмывая и опускаясь, – а я, ослепленный, трясущийся нищий, стоял на краю дороги, и в моей нищей душе все та же лепетала мысль: взмолиться бы, взмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из божьих звезд есть страна – моя страна, – умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что, захвати я в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны, под золотой гром проснувшихся храмов...

И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких риз, за волнистую, жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы; я стона<л>, я метался, я в исступленье вымаливал подаянье, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремилась их сонмы на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало Божество: о нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских, рдяных, рыжих, фиолетовых крыльях<x>, – и надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей... «Стойте, выслушайте меня», – кричал я, пытаюсь обнять легкие ангельские ноги, – но их ступни –

неошутимые, неудержимые – скользили через мои протянутые руки, и края широких крыл, вея мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочно и четко расцвеченных скал заполнялся их плещущей бурей; уходили они, уходили, замирал высокий взволнованный смех райских птиц, перестали слетать цветы с деревьев; я ослабел, затих...

И тогда случилось чудо: отстал один из последних ангелов, и обернулся, и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал как будто иной, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, – и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого, чистого лба напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц, – черты людей, давно ушедших от меня. Казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха моего, – ныне заключены в единый совершенный напев.

Он подошел ко мне, он улыбался, я не мог смотреть на него. Но, взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку, – и по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву.

И тогда, склонив голову, прижав обожженные, яркой глиной испачканные ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале, – о старых книгах и старых липах лепетал я, о безделушках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного скабиоз и ромашек, – но самое главное я никак высказать не мог, – путался я, осекался, и начинал сызнова, и опять беспомощной скороговоркой рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о липах, о первой любви, о <ш>мелях, спящих на скабиозах... Казалось мне, что вот сейчас-сейчас дойду до самого главного, объясню все горе моей родины, – но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих ни говорить, ни плакать теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать...

Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми алмазными очами – и я почувствовал, что понимает он все.

– Прости меня, – воскликнул я, робко целуя родинку на светлой ступне, – прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом. Но ты ведь понимаешь... Милосердный, серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну?

И, на мгновенье обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, – и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу – и бесчисленные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им; тонким, тугим узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце.

Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом, я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез...

Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул...

## Удар крыла

### i

Когда одна лыжа гнутым концом найдет на другую, то валишься вперед: жгучий снег забирается за рукава, и очень трудно встать. Керн, давно на лыжах не бегавший, сразу вспотел. Чувствуя легкое головокружение, он сдернул шерстяную шапку, щекодавшую ему уши; смахнул с ресниц влажные искры.

Весело и лазурно было перед шестиярусной гостиницей. В сиянии стояли бесплотные деревца. По плечам снеговых холмов рассыпались бесчисленные лыжные следы, что теневые волосы. А кругом – неслась в небо и в небе вольно вспыхивала – исполинская белизна.

Керн, скрипя лыжами, взбирался по скату. Заметя ширину его плеч, конский профиль и крепкий лок на скулах, его приняла за своеземца та англичанка, с которой он познакомился вчера, в третий день приезда, – Изабель – летучая Изабель – так называла ее толпа гладких и матовых молодых людей аргентинского пошиба, всюду сновавших за ней: в бальном зале гостиницы, на мягких лестницах и по снежным скатам в игре искристой пыли...

Облик был у нее легкий и стремительный, а рот такой яркий, что казалось, Творец, набрав в ладонь жаркого кармина, горстью хватил ее по нижней части лица. В пушистых глазах летала усмешка. Крылом торчал испанский гребень в крутой волне волос – черных с атласным отливом.

Такой видел ее Керн вчера, когда глуховатый гул гонга вызвал ее к обеду из комнаты № 35. И то, что они были соседи, причем номер ее комнаты был числом его лет, и то, что в столовой за длинным табль-д'от<sup>26</sup> она сидела против него – высокая, веселая, в черном открытом платье, с черной полоской шелка вокруг голой шеи, – все это показалось Керну таким значительным, что прояснилась на время тусклая тоска, вот уже полгода тяготевшая над ним.

Изабель первая заговорила, и он не удивился: жизнь в этой огромной гостинице, одиноко горящей в провале гор, билась пьяно и легко после мертвых лет войны; к тому же ей, Изабель, все было дозволено – и косой удар ресниц, и смех, запевший в голосе, когда она сказала, передавая Керну пепельницу:

– Мы с вами, кажется, единственные англичане здесь... – И добавила, пригнув к столу прозрачное плечо, схваченное черной ленточкой: – ...не считая, конечно, полдюжины старушек – и вон того, с воротничком задом наперед...

Керн отвечал:

– Вы ошибаетесь. У меня родины нет. Правда, я провел много лет в Лондоне. А кроме того...

Утром, на следующий день, он почувствовал вдруг, после полугода привычного равнодушия, как приятно войти в оглушительный конус ледяного душа. В девять часов, плотно и толково позавтракав, он захрустел лыжами по рыжему песку, которым посыпался голый блеск дорожки перед крыльцом гостиницы. Взобравшись по снежному скату – утиными шагами, как полагается лыжнику, – он увидел среди клетчатых рейтуз и горящих лиц – Изабель.

Она поздоровалась с ним по-английски: одним взмахом улыбки. Ее лыжи отливали оливковым золотом. Снег облепил сложные ремни, державшие ступни ног ее, не по-женски сильных, стройных в крепких сапогах и в плотных обмотках. Лиловая тень скользнула за ней по насту, когда, непринужденно заложив руки в карманы кожаной куртки и слегка выставив вперед левую лыжу, она понеслась вниз по скату, все быстрее, в развевающемся шарфе, в струях

---

<sup>26</sup> От *фр.* table d'hôte (хозяйский стол) – общий обеденный стол в пансионатах, курортных гостиницах, ресторанах.



снежной пыли. Затем на полном ходу она круто завернула, гибко согнув одно колено, и снова выпрямилась и понеслась дальше, мимо елок, мимо бирюзовой площадки катка. Двое юношей в расписных свэтерах и знаменитый шведский спортсмен с терракотовым лицом и бесцветными, назад зачесанными волосами пролетели вслед за ней.

Немного позже Керн снова встретил ее, близ голубой дорожки, по которой с легким грохотом мелькали люди – шерстяные лягушки, ничком на плоских санках. Изабель, блеснув лыжами, скрылась за поворот сугроба, – и когда Керн, стыдясь своих неловких движений, догнал ее в мягкой ложбине, среди ветвей, овеянных серебром, она поиграла пальцами в воздухе и, потапывая лыжами, побежала дальше. Керн постоял в лиловых тенях, и внезапно знакомым ужасом пахнула на него тишина. Кружева ветвей в эмалевом небе стыли, как в страшной сказке. Странными игрушками показались ему и деревья, и узорные тени, и лыжи его. Он почувствовал, что устал, что натер себе пятку, и, зацепляя торчавшие ветлы, он повернул назад. По гладкой бирюзе реяли механические бегуны. Дальше, на снежном скате, терракотовый швед помогал встать на ноги длинному господину в роговых очках, облепленных снегом. Тот барахтался в сверкающей пыли, словно неуклюжая птица. Как отломанное крыло, лыжа, сорвавшись с ноги, быстро стекала по скату.

Вернувшись к себе в номер, Керн переоделся, и когда загудели тупые раскаты гонга, позвонил и велел подать себе холодного ростбифа, винограду и флягу «кианти».

Он ощущал в плечах, в ляжках ноющую ломоту.

«Вольно мне было бегать за ней, – подумал он, усмехнувшись в нос. – Человек прикручивает к ногам пару досок и наслаждается законом притяжения. Это смешно...»

Около четырех он спустился в просторную читальню, где оранжевым жаром дышала пасть камина и в глубоких кожаных креслах невидимые люди вытягивали ноги из-под завес распахнутых газет. На длинном дубовом столе валялась куча журналов, полных туалетных объявлений, танцовщиц и парламентских цилиндров. Керн отыскал рваный номер «Татлера» за июнь прошлого года и долго разглядывал в нем улыбку той женщины, которая в продолжение семи лет была его женой. Вспомнил ее мертвое лицо, ставшее таким холодным и крепким, – письма, найденные в шкатулке.

Оттолкнул журнал, скрипнув ногтем по лоснистой странице.

Затем, тяжело двигая плечами и сопя короткой трубкой, он прошел на огромную крытую веранду, где зябко играл оркестр и люди в ярких шарфах пили крепкий чай, готовые снова лететь на мороз, на скаты, что гудящим блеском били в широкие стекла. Ищущими глазами он оглядел веранду. Чей-то любопытный взгляд кольнул его, как игла, задевшая зубной нерв. Он круто повернул обратно.

В бильiardной, куда он боком вошел, упруго надавив дубовую дверь, – Монфиори, бледный, рыжий человек, признающий только Библию и карамболи, пригнулся к изумрудному сукну и целился в шар, взад и вперед скользя кием. Керн на днях познакомился с ним, и тот сразу осыпал его цитатами из Священного Писания. Он говорил, что пишет большой труд, в котором доказывает, что если особым образом вникнуть в книгу Иова, то тогда... – Но дальше Керн не слушал, так как вдруг обратил внимание на уши своего собеседника – острые, набитые канареечной пылью и с рыжим пушком на кончиках.

Чокнулись, разбежались шары. Монфиори, подняв брови, предложил партию. У него были грустные, слегка выпуклые глаза, какие бывают у коз.

Керн согласился было, даже потер кончик кия мелком, но, внезапно ощутив волну жуткой скуки, от которой ныло под ложечкой и шумело в ушах, он сослался на ломоту в локте и, мимоходом взглянув в окно на сахарное сияние гор, вернулся в читальню.

Там, закинув ногу на ногу и вздрагивая лаковым башмаком, он снова разглядывал жемчужно-серый снимок – детские глаза и теньевые губы лондонской красавицы – его покойной

жены. В первую ночь после вольной смерти ее он пошел за женщиной, которая улыбнулась ему на углу туманной улицы: мстил Богу, любви, судьбе.

А теперь эта Изабель с красным всплеском вместо рта. Если бы можно было...

Он сжал зубы: заходили мускулы крепких скул. Вся прошлая жизнь представилась ему зыбким рядом разноцветных ширм, которыми он ограждался от космических сквозняков. Изабель – последний яркий лоскуток. Сколько их было уже, шелковых тряпок этих, как он силился занавесить ими черный провал! Путешествия, книги в нежных переплетах, семилетняя восторженная любовь. Они вздувались, лоскутки эти, от внешнего ветра, рвались, спадали один за другим. А провала не скрыть, бездна дышит, всасывает. Это он понял, когда сыщик в замшевых перчатках...

Керн почувствовал, что раскачивается взад и вперед и что какая-то бледная барышня с розовыми бровями смотрит на него из-за журнала. Он взял «Таймс» со стола, распахнул исполинские листы. Бумажное покрывало над бездной. Люди выдумывают преступления, музеи, игры только для того, чтобы скрыться от неизвестного, от головокружительного неба. И теперь эта Изабель...

Откинув газету, он потер лоб громадным кулаком и снова заметил на себе чей-то удивленный взгляд. Тогда он медленно вышел из комнаты, мимо читавших ног, мимо оранжевой пасти камина. Заблудился в звонких коридорах, попал в какую-то залу, где в паркете отражались белые ножки выгнутых стульев и висела на стене широкая картина: Вильгельм Телль, пронзающий яблоко на голове сына; затем долго разглядывал свое бритое тяжелое лицо, кровавые ниточки на белках, клетчатый бант галстука – в зеркале, блиставшем в светлой уборной, где музыкально журчала вода и плавал в фарфоровой глубине кем-то брошенный золотой окурок.

А за окном гасли и синели снега. Нежно выцветало небо. Лопасты вращающихся дверей у входа в гулкий вестибюль медленно поблескивали, впуская облака пара и фыркающих ярколицых людей, уставших от снежных игр. Лестницы дышали шагами, возгласами, смехом. Затем гостиница замерла: переодевались к обеду.

Керн, смутно задремавший в кресле, в сумерках комнаты, был разбужен гуденьем гонга. Радуюсь внезапной бодрости, он зажег свет, вставил запонки в манжеты свежей крахмальной рубашки, вытянул плоские черные штаны из-под скрипнувшего пресса. Через пять минут, чувствуя прохладную легкость, плотность волос на темени, каждую линию своих отчетливых одежд, он спустился в столовую.

Изабель не было. Подали суп, рыбу – она не являлась.

Керн с отвращением глядел на матовых юношей, кирпичное лицо старухи с мушкой, скрывавшей прыщ, человечка с козыими глазками – и хмуро уставился на кудрявую пирамидку гиацинтов в зеленом горшке.

Она явилась только тогда, когда в зале, где висел Вильгельм Телль, застучали и заныли негритянские инструменты.

От нее пахло морозом и духами. Волосы казались влажными. Что-то в ее лице поразило Керна.

Она ярко улыбнулась, поправляя на прозрачном плече черную ленточку.

– Я, знаете, только что пришла домой. Едва успела переодеться и проглотить сандвич.

Керн спросил:

– Неужели вы до сих пор на лыжах бегали? Ведь совершенно темно.

Она посмотрела на него в упор, и Керн понял, что поразило его: глаза; они сияли, словно опухшие инеем.

Изабель тихо заскользила по голубиным гласным английской речи:

– Конечно. Было удивительно. Я в темноте носилась по скатам, взлетала с выступов. Прямо в звезды.

– Вы могли убиться, – сказал Керн.

Она повторила, пушисто шурясь:

– Прямо в звезды. – И добавила, сверкнув голой ключицей: – А теперь я хочу танцевать...

В зале трещал и подпевал негритянский оркестр. Цветисто плыли японские фонари. На носках, то быстрыми, то замирающими шагами, прижав ладонь к ее ладони, Керн тесно наступал на Изабель. Шаг – и упиралась в него ее стройная нога, шаг – и она упруго ему уступала. Душистый холод ее волос щекотал ему висок, под ребром правой руки он ощущал гибкие перебивы ее оголенной спины. Не дыша, входил он в звуковые провалы, снова скользил с такта на такт... Кругом проплывали напряженные лица угловатых пар, развратно-рассеянные глаза. И тусклое пение струн перебивалось постукиванием варварских молоточков.

Музыка ускорилась, вздулась, затрещала и смолкла. Все остановились, затем захлопали в ладоши, требуя продолжения того же танца. Но музыканты решили передохнуть.

Керн, вынув из-за манжеты платок и вытирая лоб, последовал за Изабель, которая, раскачивая черный веер, пошла к дверям. Они рядом сели на ступеньке широкой лестницы.

Изабель, не глядя на него, сказала:

– Простите... Мне казалось, что я все еще в снегах, в звездах. Я даже не заметила, кто вы и хорошо ли танцуете.

Керн глухо взглянул на нее – и точно: она была погружена в свои сияющие думы, в думы, неведомые ему.

На ступеньке пониже сидел юноша в очень узком жакете и костлявая барышня с родинкой на лопатке. Когда снова запела музыка, юноша пригласил Изабель на бостон. Керну пришлось танцевать с костлявой барышней. От нее кисловато пахло лавандой. По зале расплелись цветные бумажные ленты, опутывали танцующих. Один из музыкантов налепил себе белые усы, и Керну стало почему-то стыдно за него. Когда танец кончился, он, бросив свою даму, метнулся отыскивать Изабель. Ее нигде не было, ни в буфете, ни на лестнице.

«Кончено. Спать», – кратко подумал Керн.

У себя в комнате, перед тем как лечь, он отвернул занавеску, без мысли поглядел в ночь. Перед гостиницей на темном снегу лежали отраженья окон. Вдали металлические вершины гор плавали в гробовом сиянии.

Ему показалось, что он заглянул в смерть. Плотно сдвинул складки: так, чтобы ни единый ночной луч не втекал бы в комнату. Но, выключив свет, он с постели заметил, что блестит край стеклянной полочки. Тогда он встал и долго возился у окна, проклиная лунные брызги. Пол был холоден, как мрамор.

Когда Керн закрыл глаза, распустив поясok пижамы, под ним потекли скользкие скаты, – и гулко застучало сердце, словно весь день молчало, а теперь воспользовалось тишиной. Ему страшно стало слушать этот стук. Вспомнил, как однажды, с женой, он проходил в очень ветреный день мимо мясной лавки и на крюке качалась туша, глухо бухала об стену. Вот как сердце его теперь. А жена шурилась от ветра, придерживая широкую шляпу, и говорила, что море и ветер сводят ее с ума, что надо уехать, надо уехать...

Керн перевалился на другой бок – осторожно, – чтобы не лопнула грудь от выпуклых ударов.

Нельзя так дальше, пробормотал он в подушку, с тоской подобрав ноги. Полежал на спине, глядя в потолок, где тускло белели пробившиеся лучи – как ребра.

Когда он опять зажмурился, поплыли перед ним тихие искры, затем прозрачные спирали, которые раскручивались бесконечно. Мелькнули снежные глаза и огненный рот Изабель – и опять искры, спирали. Сердце на миг сжалось в острый комок; раздулось, бухнуло.

«Нельзя так дальше, я с ума схожу. Вместо будущего – черная стена. Ничего нет».

Ему почудилось, что бумажные ленты скользят у него по лицу. Тонко шуршат и рвутся. И японские фонари текут цветной зыбью в паркете. Он танцует, наступает.

«Только бы вот разжать, распахнуть ее... А затем...»

И смерть ему представилась гладким сном, мягким падением. Ни мыслей, ни сердцебиения, ни ломоты.

Лунные ребра на потолке незаметно переменили место. По коридору тихо простучали шаги, где-то щелкнула задвижка, пролетел легкий звонок – и опять шаги, разные: бормотание шагов, лепет шагов...

«Это, значит, кончился бал», – подумал Керн. Перевернул душную подушку.

Теперь стыла кругом громадная тишина. Только сердце раскачивалось, тугое и тяжелое. Керн нащупал на ночном столике графин, глотнул из горлышка. Ледяная струйка обожгла шею, ключицу.

Он стал припоминать снотворные средства: вообразил волны, равномерно набегающие на берега. Затем пухлых серых овец, медленно перекатывающихся через плетень. Одна овца, вторая, третья...

«А в соседней комнате, – подумал Керн, – спит Изабель, в желтой пижаме, вероятно. Ей желтое идет. Испанский цвет. Если бы я поскреб ногтем по стене, она бы услышала. Ох, эти перебои...»

Он заснул на минуту, когда стал решать про себя, стоит ли зажечь лампу и почитать что-нибудь. На кресле валяется французский роман. Костяной нож скользит, режет страницы. Одну, вторую...

Он проснулся посреди комнаты – проснулся от чувства невыносимого ужаса. Ужас сшиб его с постели. Приснилось, что стена, у которой стоит кровать, стала медленно на него валиться – и вот он отскочил с судорожным выдохом.

Ощупью Керн стал отыскивать изголовье и, найдя его, тотчас бы заснул опять, если бы не звук, раздавшийся за стеной. Он не сразу понял, откуда звук этот исходит, – и оттого, что он напряг слух, его сознание, которое скользнуло было по склону сна, круто прояснилось. Звук повторился: дзынь – и густой перелив гитарных струн.

Керн вспомнил: ведь в соседнем номере Изабель. Тотчас, как бы откликнувшись его мысли, за стеной легко прокатился ее смех. Дважды, трижды дрогнула и рассыпалась гитара. И затем прозвучал и затих странный, отрывистый лай.

Керн, сидя на постели, изумленно вслушивался. Нелепая картина представилась ему. Изабель с гитарой и громадный дог, глядящий снизу на нее – блаженными глазами. Он приложил ухо к холодной стене. Лай лязгнул опять, гитара брякнула, как от щелчка, и волнами заходил непонятный шорох, словно там, в соседней комнате, за клубился широкий ветер. Шорох вытянулся в тихий свист, – и ночь снова налилась тишиной. Затем стукнула рама: Изабель заперла окно.

«Неугомонная, – подумал он, – пес, гитара, морозные сквозняки».

Теперь все было тихо. Изабель, выпроводив звуки, игравшие у нее по комнате, вероятно, легла – спит.

– К чорту! Ничего не понимаю. Ничего нет у меня. К чорту, к чорту, – простонал Керн, зарываясь в подушку. Свинцовая усталость сжимала ему виски. В ногах была тоска, невыносимые мурашки. Долго он скрипел в темноте, тяжело переваливаясь. Лучи на потолке давно потухли.

## ii

На следующий день Изабель появилась только за вторым завтраком.

С утра небо слепило белизной, солнце походило на луну; затем пошел медленный отвесный снег. Частые хлопья, как мушки на белой вуали, занавесили вид на горы, отяжелевшие елки, помутившуюся бирюзу катка. Крупные и мягкие снежинки шуршали по стеклам окон,

падали, падали, без конца. Если долго на них смотреть, начинало казаться, что вся гостиница тихо плывет вверх.

– Я так вчера устала, – говорила Изабель, обращаясь к своему соседу, молодому человеку с высоким оливковым лбом и стрелчатыми глазами, – так устала, что решила понежиться в постели.

– Вид у вас сегодня оглушительный, – протянул молодой человек с экзотической любезностью.

Она насмешливо раздула ноздри.

Керн, посмотрев на нее через гиацинты, сказал холодно:

– А я не знал, мисс Изабель, что у вас есть в комнате собака, а также и гитара.

Ему показалось, что ее пушистые глаза еще более сузились – от ветерка смущенья. Затем она вспыхнула улыбкой: кармин и слоновая кость.

– Вы вчера слишком много гуляли под музыку, мистер Керн, – отвечала она, и оливковый юноша и человечек, признававший только Библию и биллиард, засмеялись – первый сочным гоголем, второй совсем тихо и подняв брови.

Керн поглядел исподлобья и сказал:

– Я вообще попросил бы вас не играть ночью. Сон у меня очень легкий.

Изабель полоснула его по лицу быстрым сияющим взглядом:

– Это вы уж скажите вашим сновидениям, а не мне.

И заговорила с соседом о том, что завтра – лыжное состязание.

Керн уже несколько минут чувствовал, что губы его растягиваются в судорожную усмешку, которую он не мог удержать. Она мучительно дергалась в уголках рта, – и захотелось ему вдруг стянуть со стола скатерть, запустить в стену горшок с гиацинтами.

Он поднялся, стараясь скрыть нестерпимую дрожь, и, никого не видя, вышел из столовой.

У себя в комнате он долго ходил взад и вперед, кулаки прижимая к вискам.

«Что это со мной делается? – спрашивал он у своей тоски. – Что это такое?»

Пинком раскрыв чемодан, он стал укладывать вещи, – сразу закружилась голова; он бросил и опять зашагал по комнате. Со злобой набил короткую трубку. Сел в кресло у окна, за которым с тошнотворной ровностью падал снег.

Он приехал в эту гостиницу, в этот морозный и модный уголок Церматта, чтобы слить впечатления белой тишины с приятностью легких и пестрых знакомств – ибо полного одиночества он боялся пуще всего. А теперь он понял, что и людские лица нестерпимы ему, – что от снега гудит голова – и что нет у него той вдохновенной живости и нежного упорства, без которых страсть бессильна. А для Изабель жизнь, вероятно, – великолепный лыжный полет, стремительный смех – духи и мороз.

Кто она? Светописная ли дива, вырвавшаяся на волю? Или сбегавшая дочь чванного и желчного лорда? Или просто одна из тех женщин, у которых шляпы из Парижа, а деньги – неведомо откуда? Пошловатая мысль...

«А собака-то у нее есть, напрасно отнекивается: гладкий дог какой-нибудь. С холодным носом и теплыми ушами. А снег все идет, – беспорядочно думал Керн. – А у меня есть в чемодане... – И словно пружина, звякнув, раскрутилась у него в мозгу: – Парабеллум».

\* \* \*

До вечера он опять валандался по гостинице, сухо шуршал газетами в читальне; видел из окна вестибюля, как Изабель, швед и несколько молодых людей в пиджаках, натянутых на бахромчатые свэтеры, садились в сани, по-лебединому выгнутые. Чалые лошадки звенели нарядной сбруей. Валил снег, тихо и густо. Изабель, вся в белых звездинках, восклицала, сме-

ялась между спутников своих, и когда санки дернулись, понеслись – откинулась назад, всхлипнув и хлопнув меховыми рукавицами.

Керн отвернулся от окна.

– Катайся, катайся... Ничего...

Потом, во время обеда, он старался не смотреть на нее. Она была как-то празднично и взволнованно весела, – и на него не обращала внимания. В девять часов опять заняла и захлопнула негритянская музыка. Керн, в тоскливом ознобе, стоял у косяка дверей, глядел на слипшиеся пары, на кудрявый черный веер Изабель.

Тихий голос у самого уха сказал:

– Пойдемте в бар... Хотите?

Он обернулся и увидел: меланхолические козы глаза, уши в рыжем пушку.

В баре был пунцовый полусвет, воланы абажуров отражались в стеклянных столиках. У металлической стойки на высоких табуретах сидели три господина – все трое в белых гетрах, – поджав ноги и всасывая сквозь соломинки яркие напитки. По другой стороне стойки, где на полках поблескивали разноцветные бутылки, словно коллекция выпуклых жуков, жирный черноусый человек в малиновом смокинге необычайно искусно мешал коктейли. Керн и Монфиори выбрали столик в бархатной глубине бара. Лакей распахнул длинный список напитков – бережно и благоговейно, как антиквар, показывающий дорогую книгу.

– Мы будем пить подряд по одной рюмке, – сказал ему Монфиори своим грустным глуховатым голосом. – А когда дойдем до конца, начнем опять. Будем тогда выбирать только то, что пришлось нам по вкусу. Быть может, остановимся на одном и долго будем им наслаждаться. Затем опять начнем сначала.

Он задумчиво посмотрел на лакея:

– Поняли?

Лакей наклонил пробор.

– Это так называемое странствие Вакха, – с печальной усмешкой обратился Монфиори к Керну. – Некоторые люди и в жизни применяют такой прием.

Керн заглушил зябкий зев.

– Это, знаете, кончается рвотой.

Монфиори вздохнул. Отпил. Почмокал. Выдвижным карандашиком отметил крестиком первый номер в списке. С крыльев носа шли у него две глубокие борозды к уголкам тонкого рта.

После третьей рюмки Керн молча закурил. После шестой – это была какая-то приторная смесь шоколада и шампанского – ему захотелось говорить.

Он выпустил рупор дыма; шурясь, отряхнул пепел желтым ногтем.

– Скажите, Монфиори, что вы думаете об этой – как ее – Изабель?..

– Вы ничего от нее не добьетесь, – ответил Монфиори. – Она из породы скользких. Ищет только прикосновений.

– Но она ночью играет на гитаре, с собакой возится. Это странно, не правда ли? – сказал Керн, выпучив глаза на свою рюмку.

Монфиори опять вздохнул:

– Да бросьте вы ее. Право...

– Это вы, по-моему, из зависти, – начал было Керн.

Тот тихо перебил его:

– Она – женщина. А у меня, видите ли, другие вкусы.

Скромно кашлянул. Поставил крестик.

Рубиновые напитки сменялись золотыми. Керн чувствовал, что кровь у него становится сладкая. В голове туманилось. Белые гетры покинули бар. Умолкли дробь и напевы далекой музыки.

– Вы говорите, что нужно выбирать... – густо и вяло говорил он. – А я, понимаете, дошел до такой точки... Вот слушайте: у меня была жена. Она полюбила другого. Тот оказался вором. Крал автомобили, ожерелья, меха... И она отравилась. Стрихнином.

– А в Бога вы верите? – спросил Монфиори с видом человека, который попадает на своего конька. – Ведь Бог-то есть?

Керн фальшиво засмеялся:

– Библейский Бог? Газообразное позвоночное... Не верю.

– Это из Хукслея, – вкрадчиво заметил Монфиори. – А библейский Бог... Дело в том, что Он не один; много их, библейских богов... Сонмище... Из них мой любимый... «От чиханья его показывается свет; глаза у него как ресницы зари». Вы понимаете, понимаете, что это значит? А? И дальше: «...мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут». Что? Что? Понимаете?

– Стойте, – крикнул Керн.

– Нет, вникайте, вникайте. «Он море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою!»

– Стойте же, наконец, – перебил Керн. – Я хочу вам сказать, что я решил покончить с собой...

Монфиори мутно и внимательно взглянул на него, ладошкой прикрыв рюмку. Помолчал.

– Я так и думал, – неожиданно мягко заговорил он. – Сегодня, когда вы смотрели на танцующих, и раньше, когда встали из-за стола... Было что-то в вашем лице... Морщинка между бровей... Особая... Я сразу понял...

Он затих, поглаживая край столика.

– Слушайте, что я вам скажу, – продолжал он, опустив тяжелые лиловые веки в бородавках ресниц. – Я повсюду ищу таких, как вы, – в дорогих гостиницах, в поездах, на морских курортах, – ночью, на набережных больших городов...

Мечтательная усмешечка скользнула по его губам.

– Я помню, однажды, во Флоренции...

Он медленно поднял свои козы глаза:

– Послушайте, Керн, я хочу присутствовать... Можно?

Керн, сутуло застывший, почувствовал холод на груди под крахмальной рубашкой.

«Мы оба пьяны... вдрызг... – пронеслось у него в мозгу. – Страшный он».

– Можно? – вытягивая губы, повторил Монфиори. – Я вас очень прошу.

Коснулся холодной волосатой ручкой...

Керн дернулся, тяжело качнувшись, встал со стула.

– К чорту! Пустите меня... Я шутил...

Монфиори все так же внимательно смотрел, присасываясь глазами.

– Надоели вы мне! Все надоело, – рванулся, всплеснул руками Керн, – и взгляд Монфиори оторвался, как бы чмокнув...

– Муть! Куклы!.. Игра слов!.. Баста!..

Он больно стукнулся бедром о край столика. Малиновый толстяк за своей зыбкой стойкой выпучил белый вырез, заплавал, как в кривом зеркале, среди своих бутылок. Керн прошел по скользившим волнам ковра, плечом толкнул стеклянную падавшую дверь.

Гостиница глухо спала. С трудом поднявшись по мягкой лестнице, он отыскал свой номер. В соседней двери торчал ключ. Кто-то забыл запереться. В тусклом свете змеились цветы на ковре в коридоре. У себя в комнате он долго шарил по стене, ища электрическую кнопку. Затем рухнул в кресло у окна.

Он подумал, что нужно написать кое-какие письма. Прощальные. Но густой и липкий хмель ослабил его. В ушах клубился глухой гул, по лбу веяли ледяные волны. Надо было письмо написать, – и еще что-то не давало ему покоя. Точно он вышел из дому и забыл бумажник. В

зеркальной черноте окна отражалась полоска воротника, бледный лоб. Пьяными каплями он забрызгал себе спереди рубашку. Письмо надо писать – нет, не то. И внезапно что-то блеснуло в глазах. Ключ! Ключ, торчавший в соседней двери...

Керн тяжело встал, вышел в тусклый коридор. С громадного ключа спадала блестящая пластинка с цифрой 35. Он остановился перед этой белой дверью. Жадная дрожь потекла по ногам. Дернул плечом, повернул ключ и вошел.

Морозный ветер хлестнул его по лицу. В просторной освещенной спальне окно было распахнуто. На широкой постели, в желтой открытой пижаме, навзничь лежала Изабель. Све-силась светлая рука, между пальцев тлела папироса. Сон, видно, схватил ее невзначай.

Керн подошел к постели. Стукнулся коленом о стул, на котором чуть зазвенела гитара. Синие волосы Изабель крутыми кругами лежали на подушке. Он поглядел на ее темные веки, на нежную тень между грудей. Тронул одеяло. Она мгновенно распахнула глаза. Тогда Керн, как-то сгорбившись, сказал:

– Мне нужна ваша любовь. Завтра я застрелюсь.

Ему никогда не снилось, что женщина – хоть и застигнутая врасплох – может так испугаться. Изабель сперва застыла, потом метнулась, оглянувшись на открытое окно, – и, мгновенно соскользнув с постели, пронеслась мимо Керна – с наклоненной головой, словно боялась удара сверху.

Стукнула дверь. Листы почтовой бумаги слетели со стола.

Керн остался стоять посреди просторной и светлой комнаты. На ночном столике лиловел и золотился виноград.

– Сумасшедшая! – сказал он вслух.

Трудно повел плечами. Содрогнулся от холода длинной дрожью, как конь. И внезапно замер.

За окном рос, летел, приближался взволнованными толчками – быстрый и радостный лай. Через миг провал окна, квадрат черной ночи, заполнился, закипел сплошным бурным мехом. Широким и шумным махом этот рыхлый мех скрыл ночное небо, от рамы до рамы. Миг, и он напряженно вздулся, косо ворвался, раскинулся. В свистящем размахе буйного меха мелькнул белый лик. Керн схватился за гриф гитары, со всех сил ударил белый лик, летевший на него. Его сшибло с ног ребро исполинского крыла, пушистая буря. Звериным запахом обдало его. Керн, рванувшись, встал.

Посредине комнаты лежал громадный ангел.

Он заполнил всю комнату, всю гостиницу, весь мир. Правое крыло согнулось, опираясь углом в зеркальный шкаф. Левое тяжело раскачивалось, цепляясь за ножки опрокинутого стула. Стул гроыхал по полу взад и вперед. Бурая шерсть на крыльях дымилась, отливала инеем. Оглушенный ударом, ангел опирался на ладони, как сфинкс. На белых руках вздулись синие жилы, на плечах вдоль ключиц были теневые провалы. Глаза, продолговатые, словно близорук-кие, бледно-зеленые, как воздух перед рассветом, не мигая, смотрели на Керна из-под прямых, сросшихся бровей.

Керн, задыхаясь от острого запаха мокрого меха, стоял неподвижно в бесстрастности предельного страха, разглядывая гигантские, дымящиеся крылья, белый лик.

За дверью, в коридоре раздался глухой шум. Тогда другое чувство овладело Керном: щемящий стыд.

Ему стало стыдно, до боли, до ужаса, что сейчас могут войти, застать его и это невероятное существо.

Ангел шумно дохнул, двинулся, руки его ослабли; он упал на грудь, колыхнув крылом. Керн, скрипя зубами, стараясь не глядеть, нагнулся над ним, схватил холм сырой пахучей шер-сти, холодные, липкие плечи. С тошным ужасом он заметил, что ноги у ангела бледные и бес-костные, что стоять на них он не может. Ангел не противился. Керн, спеша, поволок его к



шкапу, откинул зеркальную дверь, стал вталкивать, втискивать крылья в скрипучую глубину. Он хватался за ребра их, старался согнуть их, вдавить. Складки меха, раскручиваясь, ударили его по груди. Наконец он крепко двинул дверь. В тот же миг изнутри вырвался раздирающий и нестерпимый вопль – вопль зверя, раздавленного колесом. Ах, он ему прищемил крыло. Уголок крыла торчал из щели. Керн, слегка раскрыв дверь, ладонью втолкнул курчавый клин. Повернул ключ в замке.

Стало очень тихо. Керн почувствовал, что горячие слезы стекают у него по лицу. Он выдохнул и кинулся в коридор. Изабель – ворох черного шелка, – скорчившись, лежала у стены. Он поднял ее на руки, понес к себе в комнату, опустил ее на постель. Затем выхватил из чемодана тяжелый парабеллум, захлопнул обойму – и бегом, не дыша, ворвался обратно в № 35-й.

Две половинки разбитой тарелки белели на ковре. Виноград рассыпался.

Керн увидел себя в зеркальной двери шкапа: прядь волос, спустившуюся на бровь, крахмальный вырез в красных брызгах, продольный блеск на дуле пистолета.

– Его надо прикончить, – глухо воскликнул он и распахнул шкаф.

Только вихрь пахучего пуха. Бурые маслянистые хлопья закружились по комнате. Шкап был пуст. Внизу белела шляпная картонка: продавленная.

Керн подошел к окну, выглянул. Мохнатые облачки наплывали на луну и дышали вокруг нее тусклыми радугами. Он закрыл рамы, поставил на место стул, отшаркнул под кровать бурые хлопья пуха. Затем осторожно вышел в коридор. Было по-прежнему тихо. Люди крепко спят в горных гостиницах.

А когда он вернулся к себе в номер, то увидел: Изабель, свесив босые ноги с постели, дрожит, зажав голову. Стало ему стыдно, как давеча, когда ангел смотрел на него своими зеленоватыми странными глазами.

– Скажите мне... где он? – быстро задышала Изабель.

Керн, отвернувшись, подошел к письменному столу, сел, открыл бювар, ответил:

– Не знаю.

Изабель втянула на постель босые ноги.

– Можно остаться у вас... пока? Я так боюсь...

Керн молча кивнул. Сдерживая дрожь в руке, принялся писать. Изабель заговорила снова – трепетно и глухо, но почему-то Керну показалось, что испуг ее – какой-то женский, житейский.

– Я встретила его вчера, когда в темноте летела на лыжах. Ночью он был у меня...

Керн, стараясь не слушать, писал размашистым почерком:

«Мой милый друг. Вот мое последнее письмо. Я никогда не мог забыть, как ты мне помог, когда на меня обрушилось несчастье. Он, вероятно, живет на вершине, где ловит горных орлов и питается их мясом...»

...Спохватился, резко вычеркнул, взял другой лист. Изабель всхлипывала, спрятав лицо в подушку:

– Как же мне быть теперь?.. Он станет мстить мне... О, Господи...

«Мой милый друг, – быстро писал Керн, – она искала незабываемых прикосновений, и вот теперь у нее родится крылатый зверек...» – «А... Чорт!»

Скомкал лист.

– Постарайтесь уснуть, – обратился он через плечо к Изабель. – А завтра уезжайте. В монастырь.

Плечи у нее часто ходили. Затем она утихла.

Керн писал. Перед ним улыбались глаза единственного человека на свете, с которым он мог свободно говорить и молчать. Он ему писал, что жизнь кончена, что он недавно стал чувствовать, как вместо будущего надвигается на него черная стена, – и что вот теперь случилось нечто такое, после чего человек не может и не должен жить. «Завтра в полдень я умру, – писал

Керн, – завтра – потому что хочу умереть в полной власти своих сил, при трезвом дневном свете. А сейчас я слишком потрясен».

Докончив, он присел в кресло у окна. Изабель спала, чуть слышно дыша. Тягучая усталость обхватила ему плечи. Сон спустился мягким туманом.

### iii

Он проснулся от стука в дверь. Морозная лазурь лилась в окно.

– Войдите, – сказал он, потянувшись.

Лакей беззвучно поставил поднос с чашкой чая на стол, поклонился и вышел.

Керн про себя рассмеялся: «А я-то в помятом смокинге». И мгновенно вспомнил, что было ночью. Вздвогнув, взглянул на постель. Изабель не было. Верно, ушла под утро к себе. А теперь, конечно, уехала... Бурные, рыхлые крылья на миг померещились ему. Он быстро встал – открыл дверь в коридор.

– Послушайте, – крикнул он удалявшейся спине лакея, – возьмите письмо.

Подошел к столу, пошарил. Лакей ждал в дверях. Керн похлопал себя по всем карманам, посмотрел под кресло.

– Можете идти. Я потом передам швейцару.

Пробор наклонился, мягко прикрылась дверь.

Керну стало досадно, что письмо потеряно. Именно это письмо. В нем он выразил так хорошо, так плавно и просто все, что нужно было. А теперь слова он вспомнить не мог. Всплывали нелепые фразы. Нет, письмо было чудесное.

Он принялся писать заново – и выходило холодно, витиевато. Запечатал. Четко надписал адрес.

Ему стало странно легко на душе. В полдень он застрелится, а ведь человек, решившийся на самоубийство, – Бог.

Сахарный снег сиял в окно. Его потянуло туда – в последний раз.

Тени инистых деревьев лежали на снегу, как синие перья. Где-то густо и сладко звенели бубенцы. Народу высыпало много: барышни в шерстяных шапочках,двигающиеся на лыжах пугливо и неловко, молодые люди, которые звучно перекликались, выдыхая облака хохота, и пожилые люди, багровые от напряжения, – и какой-то сухой синеглазый старичок, волочивший за собой бархатные саночки. Керн мимолетно подумал: не хватить ли старичка по лицу, наотмашь, так, просто... Теперь ведь все позволено... Рассмеялся... Давно он не чувствовал себя так хорошо.

Все тянулись к тому месту, где началось лыжное состязание. Это был высокий крутой скат, переходивший посередине в снеговую площадку, которая отчетливо обрывалась, образуя прямоугольный уступ. Лыжник, скользя по крутизне, пролетел с уступа в лазурный воздух; летел, раскинув руки, и, стоя на опустившихся на продолжение ската, скользил дальше. Швед только что побил свой же последний рекорд и далеко внизу, в вихре серебристой пыли круто завернул, выставив согнутую ногу.

Прокатали еще двое в черных свэтерах, прыгнули, упруго стукнули о снег.

– Сейчас пролетит Изабель, – сказал тихий голос у плеча Керна.

Керн быстро подумал: «Неужели она еще здесь... Как она может...» – посмотрел на говорившего. Это был Монфиори. В котелке, надвинутом на оттопыренные уши, в черном пальтишке с полосками блеклого бархата на воротнике, – он смешно отличался от шерстяной легкой толпы. «Не рассказать ли ему?» – подумал Керн.

С отвращением оттолкнул бурные пахучие крылья: «Не надо думать об этом».

Изабель поднималась на холм. Обернулась, говоря что-то спутнику своему – весело, весело, как всегда. Жутко стало Керну от этой веселости. Показалось ему, что над снегами, над стеклянной гостиницей, над игрушечными людьми – мелькнуло что-то – содроганье, отблеск...

– Как вы сегодня поживаете? – спросил Монфиори, потирая мертвые свои ручки.

Одновременно кругом зазвенели голоса:

– Изабель! Летучая Изабель!

Керн вскинул голову. Она стремительно неслась по крутому скату. Мгновенье – и он увидел: яркое лицо, блеск на ресницах. С легким свистом она скользнула по трамплину, взлетела, повисла в воздухе – распятая. А затем...

Никто, конечно, не мог ожидать этого. Изабель на полном лету судорожно скорчилась и камнем упала, покатилась, колеся лыжами в снежных всплесках.

Сразу скрыли ее из виду спины шарахнувшихся к ней людей. Керн, подняв плечи, медленно подошел. Ясно, как будто крупным почерком написанное, встало перед ним: месть, удар крыла.

Швед и длинный господин в роговых очках наклонялись над Изабель. Господин в очках профессиональными движениями ощупывал неподвижное тело. Бормотал:

– Не понимаю... Грудная клетка проломана...

Приподнял ей голову. Мелькнуло мертвое, словно оголенное лицо.

Керн повернулся, хрустнув каблуком, – и крепко зашагал по направлению к гостинице. Рядом с ним семенил Монфиори, забежал вперед, заглядывал ему в глаза.

– Я сейчас иду к себе наверх, – сказал Керн, стараясь проглотить, сдержать рыдающий смех. – Наверх... Если вы хотите пойти со мной...

Смех подступил к горлу, заклокотал. Керн, как слепой, поднимался по лестнице. Монфиори поддерживал его робко и торопливо.

## Звуки

Окно пришлось захлопнуть: дождь, ударяясь о подоконник, брызгал на паркет, на кресло. По саду, по зелени, по оранжевому песку, свежо и скользко шумя, неслись громадные серебряные призраки. Гремела и захлебывалась водопроводная труба. Ты играла Баха. Рояль поднял лаковое крыло, под крылом плашмя лежала лира, по струнам перебирали молоточки. С хвоста рояля парчовый ковер сполз грубыми складками, уронив на паркет распахнувшийся опус. Иногда сквозь волнение фуги кольцо звякало о клавиши, – и беспрерывно и великолепно в стекла хлестал июльский ливень. И, не прерывая игры и слегка нагнув голову, ты восклицала в такт – поневоле певуче:

– Дождь, дождь... Я его за-глу-шаю!..

Но заглушить ты его не могла.

Оторвавшись от альбомов, бархатными гробами лежавших на столе, я смотрел на тебя, слушал фугу, дождь, – и росло во мне чувство свежее, как запах мокрых гвоздик, что стекал отовсюду: с полок, с крыла рояля, с продолговатых алмазов люстры. То было чувство какого-то восторженного равновесия: я чувствовал музыкальную связь между серебряными призраками дождя и твоими покатыми плечами, вздрагивающими, когда ты вдавливала пальцы в зыбкий лоск. И когда я углублялся в себя, весь мир показался мне таким – цельным, согласным, связанным законами гармонии. Я, ты, ливень, гвоздики – были в это мгновение вертикальным аккордом на нотных линиях. Я понял, что все в мир<е> игра одинаковых частиц, составляющих разные созвучия: деревья, воду, тебя... Едино, равноценно, божественно. Ты встала. Еще солнце скашивал дождь. Лужи казались провалами в темном песке, просвечивали в какие-то другие небеса, скользящие под землей. На скамейке, блестящей, как датский фарфор, лежала забытая ракета: струны побурели из-за дождя, рама выгнулась восьмеркой.

Когда мы вошли в аллею – легко закружилась голова от пестроты теней, от грибной прели. Я помню тебя в каком-то просвете. У тебя были острые локти и бледные, словно опыленные, глаза. Когда говорила – резала воздух ребрышком ладони, блеском браслета на худой кисти. Волосы твои переходили, тая, в солнечный воздух, дрожащий вокруг них. Ты много и торопливо курила. Выдыхала дым через обе ноздри, угловато стряхивая пепел. Твоя сизая усадьба находилась в пяти верстах от нашей. В усадьбе твоей было звонко, пышно и прохладно. Снимок с нее появлялся в глянцевице столичном журнале. Почти каждое утро я взмахивал на кожаный клин велосипеда и шелестел, шелестел по тропинке, лесом, затем, по шоссе, через село и снова по тропинке – к тебе. Ты рассчитывала, что твой муж до сентября не придет. И ничего мы с тобой не боялись, ни сплетен твоих слуг, ни подозрений моей семьи. Оба, по-разному, мы верили в судьбу.

Твоя любовь была глуховата, как и голос твой. Ты любила словно исподлюбя и о любви не говорила – никогда. Была ты одна из тех женщин, которые обычно молчаливы и к молчанию которых сразу привыкаешь. Но иногда что-то прорывалось в тебе. Тогда гремел твой громадный Бехштейн – а не то, туманно глядя перед собой, рассказывала ты мне очень смешные анекдоты, слышанные от мужа, от товарищей его по полку. Руки помню твои – длинные, бледные, в голубоватых жилках.

В тот счастливый день, когда хлестал ливень и ты так неожиданно хорошо играла, разрешилось то смутное, что незаметно всплыло между нами после первых недель любви. Я понял, что нет у тебя власти надо мной, что не ты одна, а вся земля – моя любовница. Душа моя как бы выпустила бесчисленные, чуткие щупальца, и я жил во всем, одновременно ощущая, как где-то за океаном грохочет Ниагара и как, вот, в аллее, шуршат и хлопают длинные золотые

капли. Посмотрел я на блестящую кору березы и вдруг почувствовал: не руки у меня, а сложенные ветви в мелких мокрых листочках, и не ноги, а тысяча тонких корней, выходящих, пьющих землю. Захотелось мне перелиться так во всю природу, испытать, что значит быть старым боровиком с ноздреватым желтым исподом, стрекозой, кольцом солнца. Я был так счастлив, что рассмеялся вдруг, поцеловал тебя в ключицу, в затылок. Я бы даже стихи прочел тебе, но стихов ты терпеть не могла.

Улыб<ну>лась узкой улыбкой и сказала:

– А хорошо после дождя. – Затем подумала и прибавила: – Знаешь, я вдруг вспомнила: меня сегодня звал к себе чай пить – этот – как его – Пал Палыч. Он страшно скучный, но, понимаешь, надо.

Пал Палыча я знал давно: бывало, вместе удим рыбу, а он вдруг запоем ноющим тенорком «Вечерний звон». Я очень любил его. Огненная капля упала с листа прямо мне на губы. Я предложил сопроводить тебя.

Ты зябко повела плечами:

– Мы там умрем со скуки. Это ужасно.

Взглянула на кисть, вздохнула.

– Пора. Надо пойти переменить туфли.

В твоей туманной спальне, пробиваясь сквозь опущенные жалюзи, солнце легло двумя золотыми лестницами. Ты глухо сказала что-то. За окном счастливым шелестом дышали, капали деревья. И, улыбаясь шелесту, легко и не жадно я обнял тебя.

Было так: на одном берегу реки – твой парк, твои луга, на другом – село. Местами в шоссе были глубокие выбоины; жирно лиловела грязь, пузырчатая вода цвета кофе с молоком стояла в колеях. Особенно отчетливо тянулись косные тени черных бревенчатых изб.

Мы шли в тени по утопанной тропе вдоль мелочной лавки, вдоль трактира с изумрудной вывеской, вдоль дворов, полных солнца, дышащих навозом, свежим сеном.

Школа была новая, каменная, обсаженная кленами. На пороге перед зияющей дверью баба, блестя белыми икрами, выжимала тряпку в ведро.

Ты спросила:

– Что, Пал Палыч дома?

Баба (веснушки, косицы) пощурилась от солнца.

– Как же, дома, – оттолкнула пятой звякнувшее ведро. – Входите, барыня. Они в мастерской будут.

Проскрипели по темному коридору, затем – через просторный класс. Мимоходом взглянул я на голубоватую карту; подумал: вот вся Россия так – солнце, ухабы... В углу блестел раздавленный мелок. А дальше, в небольшой мастерской, хорошо пахло столярным клеем, сосновыми опилками. Без пиджака, пухлый и потный, Пал Палыч строгал, выставив левую ногу и сочно играя рубанком по поющей белой доске. В пыльном луче качалась взад и вперед его влажная плешь. На полу под верстаком легкими локонами вились опилки.

Я громко сказал:

– Пал Палыч, гости к вам!

Он вздрогнул, сразу смутился, суетливо чмокнул тебе руку, которую ты подняла таким слабым, таким знакомым движением, сырыми пальцами на мгновение впился в мою кисть, потряс. У него было лицо, словно вылепленное из маслянистого пласт<и>лина, мягкоусое, в неожиданных морщинках.

– Виноват, я, знаете, не одет, – стыдливо ухмылялся он.

Схватил с подоконника два рядом стоящих цилиндра – манжеты. Торопливо нацепил.

– А над чем это вы работаете? – спросила ты, блеснув браслетом.

Пал Палыч размашисто напяливал пиджак.

– Это так, пустяки, – забубнил он, слегка спотыкаясь на губных согласных, – полочка такая. Еще не кончено. Потом отшлифую, помажу лаком. А вот лучше посмотрите – так называемая «муха»...

Мазком сложенных ладоней он закрутил маленький деревянный вертолет, который, жужжа, взлетел, стукнулся об потолок, упал.

Тень вежливой улыбки скользнула у тебя по лицу.

– Что же это я! – опять завожился Пал Палыч. – Идем же наверх, господа. Тут дверь визжит. Виноват. Разрешите мне вперед пройти. Я боюсь, у меня не прибрано...

– Он, кажется, забыл, что приглашал меня, – сказала ты по-английски, когда мы стали подниматься по некрашеной скрипучей лестнице...

Я смотрел на спину твою, на шелковые клеточки твоей фуфайки. Внизу где-то, верно во дворе, раздавался звонкий бабий голос: «Герасим! А, Герасим!» – и вдруг так ясно стало мне, что мир веками цвел, увядал, кружился, менялся только затем, чтобы вот сейчас, вот в это мгновение связать в одно, слить в вертикальный аккорд голос, что прозвенел внизу, движение твоих шелковых лопаток, запах сосновых досок.

В комнате у Пал Палыча было солнечно и тесновато. Над постелью прибит был пунцовый коврик с желтым львом, вышитым посерединке. На другой стене висела в раме глава из «Анны Карениной», набранная так, что теневая игра разных шрифтов и хитрое расположение строк образовали лицо Толстого. Хозяин, суетливо потирая руки, усадил тебя, крылом пиджака смахнул тетрадь со стола, извинился, положил на место. Появился чай, простокваша, альберты. Из ящика комода Пал Палыч достал цветистую банку ландринских леденцов. Когда он нагнулся, вздувалась складка прыщеватой кожи сзади над воротником. На подоконнике в паутиновом пушку желтел мертвый шмель.

– Где это Сараево? – вдруг спросила ты, шурша газетным листом, который лениво взяла со стула.

Пал Палыч, занятый разливанием чая, ответил:

– В Сербии.

Затем осторожно дрожащей рукой передал тебе дымящий стакан в серебряной подставке.

– Прошу. Можно вам предложить бисквитов?.. И что это они бомбой шарахнули? – обратился он ко мне, дернув плечами.

Я рассматривал – в сотый раз – толстое стеклянное пресс-папье: внутри стекла – розоватая лазурь и Исакий в золотых песчинках. Ты рассмеялась и прочла вслух:

– «Вчера в ресторане “Квисисана” был задержан купец второй гильдии Ерошин. Оказалось, что Ерошин, под предлогом...»

Рассмеялась опять:

– Нет, дальше неприлично.

Пал Палыч потерялся, налил коричневой кровью, уронил ложку. Листья кленов лоснились под самым окном. Громыкнула телега. Далеко где-то уныло и нежно пронеслось: мороженое!..

Он заговорил о школе, о пьянстве, о том, что в реке появилась форель. Я стал всматриваться в него, и показалось мне, что впервые его вижу по-настоящему – хотя давно его знал. При первом знакомстве я, должно быть, взглянул на него – и этот первый облик так и остался у меня в мозгу, не меняясь, как нечто принятое, привычное. Когда я мельком думал о Пал Палыче, мне почему-то казалось, что у него не только русые усы, но и борода такая. Мнимая борода – свойство многих русских лиц. Теперь, взглянув на него как-то особенно, внутренними глазами, я видел, что в действительности подбородок у него круглый, безволосый, слегка раздвоенный. Нос был мясистый, а на левом веке я подметил родимый прыщик, который так и

хотелось срезать, но срезать значило бы убить. В этом зернышке был весь он, только он. И когда я все это понял, всего его осмотрел, сделал я легкое, легкое движение, словно пустил душу скользить по скату, и вплыл я в Пал Палыча, разместился в нем, почувствовал как-то снутри и прыщик на морщинистом веке, и крахмальные крылышки воротника, и муху, ползающую по плечи. Я стал им. Я смотрел на все его светлыми бегающими глазами. Желтый лев над постелью показался мне давно знакомым, точно с детства он висел у меня на стене. Необычайной, изящной, радостной стала крашенная открытка, залитая выпуклым стеклом. Передо мной не ты сидела, а попечительница школы, малознакомая молчаливая дама в низком соломенном кресле, к которому спина моя привыкла. И сразу тем же легким движением вплыл я в тебя, ощутил повыше колена ленту подвязки, еще выше – батистовое щекотанье, подумал за тебя, что скучно, что жарко, что хочется курить. И в тот же миг ты вынула золотую шкатулочку из сумки, вставила папиросу в мундштук. И я был во всем: в тебе, в папиросе, в Пал Палыче, неловко чиркающем спичкой, и в стеклянном пресс-папье, и в мертвом шмеле на подоконнике.

Много лет проплыло с тех пор, и я не знаю, где он теперь – робкий, рыхлый Пал Палыч. Иногда только, когда меньше всего я думаю о нем, вижу я его во сне, в обстановке моей нынешней жизни. Входит он в комнату своей суетливой, улыбающейся походкой, с блеклой панамой в руке, кланяется на ходу, огромным платком вытирает лысину, красную шею. И когда он мне снится, непременно и ты проходишь через мой сон, ленивая, в шелковой фуфайке с низким пояском.

Я был неразговорчив в тот счастливейший день: глотал скользкие хлопья простокваши, прислушивался ко всем звукам. Когда Пал Палыч затихал, слышно было, как у него урчит в животе: нежно пискнет, чуть забулькает. Тогда он деловито откашливался и поспешно начинал рассказывать что-нибудь, запинаясь и не находя нужного слова, морщился, барабанил подушечками пальцев по столу. Откинувшись в низком кресле, ты спокойно молчала и, повернув голову набок и подняв острый локоть, поправляла сзади шпильки, из-под ресниц взглядывала на меня. Ты думала, что мне неловко перед Пал Палычем, неловко потому, что мы пришли вместе, что, может, он догадывается о наших отношениях. И мне смешно было, что думаешь ты так, и смешно, что Пал Палыч тоскливо и тускло краснел, когда ты нарочно заговаривала о муже, о службе его.

Перед школой, под кленами, солнце разбрызгалось горячей охрой. С порога Пал Палыч, провожая нас, кланялся, благодарил, что зашли, кланялся опять. У двери, на наружной стене, стеклянной белизной блестел градусник.

Когда, выйдя из села и перейдя мост, мы стали подниматься тропинкой по направлению к твоей усадьбе, я взял тебя под локоть и ты боком взглянула на меня с той особой узкой улыбкой, по которой я знал, что ты счастлива. Мне вдруг захотелось рассказать тебе о морщинках Пал Палыча, об Исакии в блестках, но только я начал, почувствовал я, что слова выходят не так, аляповатые, и, когда ты ласково сказала: «декадент!», я заговорил о другом. Я знал: тебе нужны простые чувства, простые слова. Ты молчала легко и безветренно, как молчат облака, растения. Всякое молчанье есть допущение тайны. Многим ты казалась таинственной.

Работник в раздутой рубахе звонко и крепко точил косу. Над нескошенными скабиозами плыли бабочки. По тропинке навстречу нам шла барышня с бледно-зеленым платком на плечах, с ромашками в темной прическе. Я уже раза три видал ее, запомнилась тонкая загорелая шея. Проходя мимо нас, она внимательно коснулась тебя гладкими, чуть раскосыми глазами, затем, осторожно перепрыгнув канаву, скрылась за ольхами. Серебристая дрожь скользила по матовым кустам. Ты сказала: «Наверно, разгуливала у меня в парке. Вот не терплю этих дачниц...» Фокс, старая, толстая сучка, бежал по тропинке вдогонку за своей госпожой. Ты обо-

жала собак. Свистнула, присела на корточки. Собачка подползла, юля и приложив уши. Под твоей протянутой рукой – перевалилась на спину, показывая розовое брюшко в старых географических пятнах. «Ух ты, хорошая моя», – сказала ты особым, треплющим голосом. Фокс, повалившись, жеманно взвизгнул и побежал дальше; перекатился через канаву.

Когда мы уже подходили к парковой калитке, тебе захотелось курить, но, пошарив в сумке, ты тихо цокнула:

– Вот глупо! Забыла у него мундштук.

Тронула меня за плечо:

– Милый, сбегай! Иначе курить не могу.

Смеясь, поцеловал я твои зыбкие ресницы, узкую твою улыбку.

Ты крикнула мне вслед:

– Поскорее только!

И тогда я пустился бегом – не потому, что нужно было торопиться, но потому, что все вокруг бежало: и отливы кустов, и тени облаков по влажной траве, и лиловатые цветы, спасающиеся в овраге от молнии косца.

Через минут десять, жарко дыша, поднимался я по лестнице в школе. Кулаком бухнул в коричневую дверь. В комнате скрипнули пружины матраца. Я повернул дверную ручку: заперто.

– Кто там? – растерянно отозвался Пал Палыч.

Я крикнул:

– Да впустите же!

Опять звякнул матрац; зашлепали необутые ступни.

Что же вы запираетесь, Пал Палыч?

И сразу же я заметил, что глаза у него красные.

– Входите, входите... Очень приятно. Я, видите ли, спал. Прошу.

– Тут мундштук остался, – сказал я, стараясь не глядеть на него.

Отыскал под креслом зеленую эмалевую трубочку. Сунул в карман. Пал Палыч трубил в платок.

– Прекрасный она человек, – некстати заметил он, тяжело присев на постель. Вздыхнул. Посмотрел вбок.

– В русской женщине есть, знаете, такая... – весь сморщился, потер лоб рукой, – такая... – тихо крикнул, – жертвенность. Ничего нет прекраснее на свете. Необычайно тонкая, необычайно прекрасная... жертвенность. – Заломил руки, просиял лирической улыбкой, – необычайно...

Помолчал и спросил уже другим тоном, которым часто смешил он меня:

– А что вы мне еще расскажете, дорогой мой?

Мне захотелось обнять его, сказать ему что-нибудь очень ласковое, нужное.

– Шли бы вы гулять, Пал Палыч. Охота вам киснуть в душной комнате.

Он махнул рукой:

– Чего я там не видал. П-печет только...

Вытер ладонью опухшие глаза, усы – сверху вниз.

– Вот вечером, может быть, пойду удить рыбу. – Дрогнув родимый прыщик на морщинистом веке.

Надо было спросить его: «Голубчик, Пал Палыч, отчего это вы только что лежали, уткнувшись в подушку? Что это, сенная лихорадка или большая печаль? Любили ли вы когда-нибудь женщину? И отчего вам плакать сегодня, когда на улице солнце, лужи?..»

– Ну-с, пора мне бежать, Пал Палыч, – сказал я, оглянув неубранные стаканы, типографского Толстого, сапоги с ушками под сукном.



Две мухи сели на красный пол. Одна влезла на другую. Зажужжали. Разлетелись.

– Эх вы... – медленно выдохнул Пал Палыч. Покачал головой. – Ну уж так и быть, ступайте.

Снова бежал я по тропинке, вдоль ольховых кустов. Я чувствовал, что омылся в чужой грусти, сияю чужими слезами. Это было счастливое чувство, и с тех пор изредка испытываю я его при виде склоненного дерева, прорванной перчатки, лошадиных глаз. Оно было потому счастливое, что лилось гармонично. Оно было счастливое, как всякое движение, излученье. Был я когда-то раздроблен на миллионы существ и предметов, теперь я собран в одно, завтра раздроблюсь опять. И все в мире переливается так. В тот день я был на вершине волны, знал, что все вокруг меня – ноты одной гармонии, знал – втайне, – как возникли, как должны разрешиться собранные на миг звуки, какой новый аккорд вызовет каждая из разлетающихся нот. В гармонии не может быть случайности. Музыкальный слух души моей все знал, все понимал.

Ты встретила меня на садовой площадке у ступеней веранды, и первые твои слова были:

– Муж звонил из города, пока меня не было. Приезжает с десятичасовым. Что-то случилось. Переводят, что ли.

Трясогузка – сизый ветер – просеменила по песку: стоп, два-три шажка, стоп и опять шажки. Трясогузка, мундштук в моей руке, твои слова, пятна солнца на платье. Иначе быть не могло.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказала ты, сдвинув брови. – О том, что ему донесут и все такое. Но это все равно... Знаешь, что я...

Я посмотрел тебе прямо в лицо. Всей душой, плашмя посмотрел. Ударился в тебя. Глаза твои были ясны, словно слетел с них лист шелковистой бумаги, какой быва<ю>т подернуты рисунки в дорогих книгах. И голос твой был ясен – в первый раз.

– Знаешь, что я решила? Вот. Не могу жить без тебя. Так ему и скажу. Развод он мне даст сразу. И тогда мы можем, скажем, осенью...

Я перебил тебя своим молчанием. Пятно солнца скользнуло с юбки твоей на песок: это ты слегка отодвинулась.

Что мог я сказать тебе? Свобода? Плен? Мало люблю? Не то.

Прошло одно мгновение; за этот миг на свете случилось многое: где-нибудь гигантский пароход пошел ко дну, войну объявили, родился гений. Это мгновение прошло.

– Вот твой мундштук, – проговорил я, кашлянув. – Он был под креслом. И знаешь, когда я вошел, Пал Палыч, по-видимому...

Ты сказала:

– Так. Теперь можешь уходить.

Повернулась и быстро убежала по ступеням. Схватила за ручку стеклянной двери, дернула, не сразу могла открыть. Это было, вероятно, мучительно.

Блеснуло. Захлопнулась.

Постоял я в саду, в сладковатой сырости, затем, глубоко засунув руки в карманы, обошел кругом дома, по пятнистому песку. У парадного крыльца нашел свой велосипед. Уперся в низкие рулевые рога, покатыл по аллее парка.

Там и сям лежали жабы. Нечаянно я одну переехал. Хлопнуло под шиной.

В конце аллеи была скамейка. Я приставил велосипед к стволу. Сел на беленую доску. Думал о том, что, вероятно, на днях получу от тебя письмо: будешь звать, а я не вернусь. В чудесную и печальную даль уплыл твой дом с его крылатым роялем, пыльными томами «Живописного обозрения», силуэтами в круглых рамочках. Сладко мне было терять тебя. Ты ушла,

угловато дернув стеклянную дверь. Но другая ты уходила иначе – распахнув бледные глаза под моими счастливыми поцелуями. Ничего нет слаще уходящей музыки.

Так просидел я до вечера. Словно на незримых ниточках, вверх и вниз дрыгали мошки. Вдруг где-то сбоку почувствовал я светлое пятно: твое платье... ты...

Все ведь дозволено – оттого стало мне неприятно, что ты опять тут – где-то сбоку, вне поля моего зрения, идешь, приближаешься. С усилием я повернул лицо. Это была не ты, а та барышня в зеленоватом платке – помнишь, встретили?.. Еще у фокса было такое смешное брюшко... Она прошла в просветах листвы, по мостику, ведущему к маленькой беседке с цветными стеклами. Барышне скучно, она разгуливает у тебя в парке, я, вероятно, с ней познакомлюсь как-нибудь.

Медленно встал я, медленно выехал из неподвижного парка на большую дорогу, прямо в огромный закат. За поворотом перегнал коляску: это твой кучер Семен шагом ехал на станцию. Увидя меня, он медленно снял картуз и, пригладив по темени лоснящиеся пряди, надел опять. На сиденье был сложен клетчатый плед. Закатный блеск скользнул в глазу у вороного мерина. А когда, остановив педали, пролетел я под гору к реке, то увидел с моста панаму и круглые плечи Пал Палыча, сидящего внизу, на выступе купальни с удочкой в кулаке.

Затормозил я, остановился, положив ладонь на перила.

– Гоп-гоп, Пал Палыч! Клюет?

Он взглянул вверх, хорошо так помахал рукой. Над розовым зеркалом метнулась летучая мышь. Черным кружевом отражалась листва. Издали Пал Палыч кричал что-то, манил рукой. Другой Пал Палыч черной зыбью дрожал в воде. Я рассмеялся и оттолкнулся от перил. Беззвучным махом пронесся я по укатанной тропе мимо изб. В матовом воздухе проплывало мычанье; взлетая, дзенькали рюхи. А дальше, на шоссе, в просторе заката, в полях, смутно дымящихся, было тихо.

## Боги

Вот что я сейчас вижу в твоих глазах: дождливая ночь; узкая улочка; уплывающие вдаль фонари. Вода течет с крутых крыш по трубам. Под змеиной пастью каждой трубы – бадья, схваченная зеленым обручем. Бадьи тянутся рядами по обеим сторонам вдоль черных стен. Я смотрю, как наполняются они холодной ртутью. Дождевая ртуть, вздувшись, переливается через край. Вдали плывут простоволосые фонари. Их лучи стоят дыбом в дождевой мути. Вода переполняет бадьи.

Так вхожу я в твои ненасытные глаза, в проулок черного блеска, где журчит и шуршит ночной дождь. Улыбнись. Зачем ты смотришь на меня так скорбно и темно? Утро. Всю ночь звезды кричали младенческими голосами и кто-то на крыше рвал и гладил скрипку острым смычком. Смотри, солнце огненным парусом медленно прошло по стене. Ты вся задымилась. В твоих глазах закружилась пыль: миллионы золотых миров. Улыбнулась! Мы выходим на балкон. Внизу, посередине улицы, желтокудрый мальчик быстро-быстро рисует бога. Бог протянулся от панели до панели. Мальчик зажал в руке кусок мела, белый уголек, и скорчился, колесит, размашисто чертит. У белого бога – широкие большие пуговицы, вывернутые ноги. Он распят на асфальте и круглыми очами смотрит в небо. Рот у него – белая дуга. Сигара, величиной с полено, появилась во рту. Мальчик винтовыми ударами чертит спиралями дым. Подбоченился, смотрит. Прибавил еще одну пуговицу... Напротив лязгнула оконная рама; женский голос, громадный и счастливый, прокатился, позвал. Мальчик пинком поддал мяч, кинулся в дом. На лиловатом асфальте остался белый геометрический бог, глядящий в небо.

Снова тьмой наполнились твои глаза. Я понимаю, конечно, о чем ты вспомнила. В углу нашей спальни, под образом – цветной резиновый мяч. Иногда легким и грустным прыжком он спадает со столика на пол, тихо катится. Положи его на место, под образ, и, знаешь, пойдем гулять.

Весенний воздух. Чуть пушистый. Видишь эти липы вдоль улицы? Черные ветки в мокрых зеленых блестях. Все деревья на свете движутся куда-то. Вечное паломничество. Помнишь ли, когда ехали мы сюда, в этот город, мимо вагонных окон шли деревья? Помнишь двенадцать тополей, что совещались между собой, как им перейти реку? А еще раньше, в Крыму, я видел кипарис, склоненный над цветущим миндалем. Кипарис был некогда рослым трубочистом со щеткой на проволоке, с лесенкой под мышкой. Был он, бедный, без ума от маленькой прачки, розовой, как миндальные лепестки. И только вот теперь они встретились наконец и вместе идут куда-то. Розовый передник ее вздувается, он робко наклоняется к ней, еще как будто боясь испачкать ее сажей. Это очень хорошая сказка.

Все деревья паломники. У них есть свой Мессия, которого ищут они. Их Мессия – царственный ливанский кедр, а может быть, просто – совсем маленький, совсем незаметный кустик какой-нибудь на [sic!] тундре... Сегодня через город проходят липы. Их захотели удержать. Обнесли стволы круглыми решетками. Но они все равно движутся...

Горят крыши, как косые зеркала, ослепленные солнцем. Крылатая женщина моет стекла, стоя на подоконнике. Изогнулась, надула губы, смахивая с лица прядь горящих волос. В воздухе тонко пахнет бензином и липой. Кто знает теперь, какой именно запах легонько обдавал гостя, входящего в помпейский атриум? Через полвека люди знать не будут, чем пахло на наших улицах и в комнатах наших. Откопают каменного полководца, каких сотни в каждом городе, и вздохнут о былом Фидиасе. Все в мире прекрасно, но человек только тогда признает прекрасное, когда видит его либо редко, либо издалека...

Слушай, мы сегодня – боги! Наши синие тени громадны. Мы двигаемся в исполинском и радостном мире. Высокая тумба на углу крепко обтянута мокрыми еще полотнами: по ним кисть разметала цветные вихри.

У старухи-газетчицы седые загнутые волосы на подбородке и сумасшедшие голубые глаза. Газеты буйно торчат из мешка. Их крупный шрифт напоминает мне летящих зебр.

У столба стал автобус. Наверху кондуктор бабахнул ладонью по железному борту. Рулевой мощно повернул огромное свое колесо. Восходящий трудный стон, короткий скрежет. На асфальте остались серебряные отпечатки широких шин.

Сегодня, в этот солнечный день, все возможно. Смотри, человек прыгнул с крыши на проволоку, и вот идет по ней, заливаясь смехом, распахнув руки, – высоко над качающейся улицей. Вот два дома плавно сыграли в чехарду: номер третий оказался между первым и вторым; он не сразу осел – я заметил просвет под ним, солнечную полоску. Вот посреди площади встала женщина, запрокинула голову и запела; вокруг нее столпились, подались назад: пустое платье лежит на асфальте, а в небе прозрачное облачко.

Ты смеешься. Когда ты смеешься, мне хочется весь мир превратить в твое зеркало. Но мгновенно глаза твои гаснут. Говоришь страстно и испуганно:

– Хочешь, поедem... туда? Хочешь? Там сегодня хорошо... цветет все...

Конечно, все цветет, конечно, поедem. Ведь мы с тобой боги... Я ощущаю в крови своей кружение неисследимых вселенных...

Слушай, я хочу всю жизнь бежать и кричать что есть сил. Пускай вся жизнь будет вольным воплем. Вот как кричит толпа, когда встречает гладиатора. Не задумывайся, не прерывай крик, выдыхай, выдыхай восторг жизни. Все цветет. Все летит. Все кричит, захлебываясь криком. Смех. Бег. Распущенные волосы. Вот – вся жизнь.

По улице ведут верблюдов – из цирка в зоологический сад. Жирные горбы их склонились набок, покачиваются. Длинные добрые морды слегка подняты мечтательно. Какая может быть смерть, если по весенней улице ведут верблюдов? На углу пахнуло русской рощей: нищий, божественный урод, весь вывернутый, с ногами, растущими из-под мышек, протягивает в мокрой мохнатой лапе пучок зеленоватых ланд... Я плечом влетаю в прохожего: на миг сшиблись два гиганта. Он весело и великолепно замахнулся на меня лаковой тростью. Откинутым концом разбил за собой витрину. Распрыгались извилины по блестящему стеклу. Нет, это просто солнце из зеркала брызнуло мне в глаза. Бабочка, бабочка! Черная с пунцовыми полосками... Клочок бархата... Скользнула над асфальтом, взмыла через пролетающий автомобиль, через высокий дом – в мокрую лазурь апрельского неба. Точь-в-точь такая же села когда-то на белый край арены; Лезбия, дочь сенатора, худенькая, темноглазая, с золотой лентой на лбу, залюбовалась дышащими крыльями – и пропустила тот миг, когда в вихре ослепительной пыли хрустнул бычий затылок одного бойца под голым коленом другого.

У меня в душе сегодня – гладиаторы, солнце, гул мира...

Мы спускались по широким ступеням в длинное тусклое подземелье. Туго звенят под шагами каменные плиты. Изображеньями горящих грешников расписаны старые стены. В глубине черными складками нарастает бархатный гром. Вырывается кругом нас. Люди метнулись, как бы в ожидании бога. Нас вдавливают в стеклянный блеск. Раскачнулись. Влетаем в черный провал и гулко несемся глубоко под землей, повисая на кожаных ремнях. На миг, щелкнув, гаснут янтарные лампочки: тогда в темноте жарко горят рыхлые пузыри огня – выпущенные глазища бесов, а может быть, сигары наших попутчиков. Снова светло. Видишь, вон там, у стеклянной двери вагона, стоит высокий господин в черном пальто. Я смутно узнаю это лицо, узкое, желтоватое, – костяную горбинку носа. Тонкие губы сжаты, внимательная складка между тяжелых бровей: он слушает, что объясняет ему другой, бледный, как гипсовая маска, с круглой лепной бородкой. Я уверен – они говорят терцинами. А вот соседка твоя – эта дама в палевом платье, что сидит, опустив ресницы, уж не Беатриче ли она?

Из сырой преисподни снова выходим на солнце.

Кладбище далеко за городом. Дома поредели. Зеленоватые пустоты. Я вспоминаю вид этой же столицы на старинном эстампе.

Мы идем против ветра, вдоль величавых заборов. В такой же солнечный и зыбкий день мы вернемся с тобой на север, в Россию. Будет очень мало цветов – только желтые звездочки одуванчиков вдоль канав. Будут гудеть нам навстречу сизые телеграфные столбы. Когда за поворотом ударят в сердце елки, красный песок и угол дома, я покачнусь и паду ничком.

Смотри! Над зеленоватыми пустотами высоко в небе плывет аэроплан, басисто звеня, как Эолова арфа. Сияют стеклянные крылья. Правда, хорошо? Ах, слушай: это случилось в Париже, лет полтораста тому назад. Рано утром – дело было осенью, и деревья мягкими оранжевыми горами плыли вдоль бульваров в нежное небо, – рано утром на рыночную площадь съехались торговцы, заблестали мокрые яблоки на лотках, пахло медом, сырой соломой. Старик, с белым пухом в ушных раковинах, не торопясь расставил клетки свои, в которых зябко ерзала всякая птица, и затем сонно прилег на рогожку, так как заревой туман еще скрывал золотые стрелки на черном циферблате ратуши. Только что уснул он, как кто-то стал тереть его за плечо. Вскочил старик и увидел перед собой запыхавшегося молодого человека. Был он долговязый, тощий, с маленькой головой и острым носиком. Жилет – серебристый в черную полоску – был криво застегнут, ленточка на косице развязалась, на одной ноге белый чулок сполз складками.

– Мне нужно какую-нибудь птицу, курицу, что ли, – сказал молодой человек, скользнув по клеткам быстрым взволнованным взглядом.

Старик бережно вытащил белую курочку, пухло бьющуюся в его темных руках.

– Что она, не больна? – спросил молодой человек, словно речь шла о корове.

– Больна? Брюшко маленькой рыбки! – добродушно выругался старик.

Молодой человек кинул яркую монету и побежал между лотков, прижав на груди курочку. Остановился, круто повернул, хлестнув косицей, и снова подбежал к старику.

– Мне нужно и клетку, – сказал он.

Когда он наконец удалился, держа клетку с курочкой в протянутой руке и раскачивая другой, словно нес ведро, старик хмыкнул носом и снова прилег на рогожку. Как он торговал в этот день и что с ним случилось потом, совершенно для нас не важно.

А молодой человек был не кто иной, как сын знаменитого физика Шарля. Шарль посмотрел через очки на курочку, щелкнул желтым ногтем по клетке и сказал:

– Ну что ж, теперь и пассажир есть.

И прибавил, строго сверкнув стеклами на сына:

– А мы с тобой, друг мой, повременим. Бог весть, какой там воздух, в облаках-то.

В тот же день, в назначенный час, на Марсовом поле, при дивящейся толпе, громадный, легкий купол, вытканый богдыханскими узорами, с золоченой гондолой на шелковых шнурах, медленно вздувался, наливаясь водородным газом. В струях дыма, уносимого вбок ветром, возились Шарль и сын его. Курочка сквозь решетку клетки смотрела одним бисерным глазком, наклонив голову. Кругом двигались кафтаны цветные, в искру, воздушные платья женщин, соломенные шляпы, и, когда шар шарахнулся ввысь, старый физик посмотрел ему вслед, заплакал на плече у сына, и сотни рук кругом замахали платками, лентами... По нежному солнечному небу летели рассыпчатые облака, Земля уходила – зыбкая, зеленоватая, в бегущих тенях, в огненных пятнах деревьев. Далеко внизу пронеслись игрушечные всадники, но шар скоро исчез из виду. Курочка все смотрела одним глазком.

Летела она весь день. День окончился широким ярким закатом. Ночью шар стал медленно опускаться.

А в одной деревушке на берегу Луары жил-был добрый хитроглазый крестьянин. Вот на заре вышел он в поле. Посреди поля увидел он диво: громадный ворох пестрых шелков. Рядышком лежала опрокинутая клетка. Курочка, белая, словно вылепленная из снега, просунив голову сквозь решетки и отрывисто поводя клювом, искала в траве букашек. Крестьянин испугался было, но скоро смекнул, что Богородица, чьи волосы осенними паутинами плыли

по воздуху, просто шлет ему подарок. Шелк жена его распродала по кускам в ближнем городе, маленькая золоченая гондола обратилась в люльку для туго спеленатого первенца, а курочку отправили на задний двор.

Слушай дальше.

Протекло некоторое время, и вот однажды крестьянин, проходя мимо холмика половы в воротах амбара, услышал счастливое кудахтанье. Он нагнулся – из зеленой пыли выскочила курочка и юркнула на солнце, быстро и не без гордости переваливаясь с лапки на лапку. А в полове жарко и гладко горели четыре золотых яйца.

Да иначе и быть не могло. Курочка по воле ветра пролетела через сплошное зарево заката, и солнце, огненный петух с багряным гребнем, потрепыхало над ней. Не знаю, понял ли это крестьянин. Долго стоял он неподвижно, мигая и шурясь от блеска и бережа в ладонях еще теплые, цельные золотые яйца. Затем, гремя деревянными башмаками, кинулся он через двор – с таким воплем, что батрак его подумал: «Ишь, топором палец себе оттяпал...»

Впрочем, все это случилось очень давно, за много лет до того, как летчик Латам, упав посреди Ла-Манша, сидел, понимаешь ли ты, на стрекозином хвосте своей погружающейся «Антуане<т>ты» и курил на ветру пожелтевшую папиросу, глядя, как там, высоко в небе, соперник его Блерио на маленькой тупокрылой машине летит – в первый раз – из Кале к сахарным берегам Англии.

Но я не могу побороть твою тоску. Почему глаза твои опять наполнились темнотой? Нет, не говори ничего. Я все знаю. Не надо плакать. Он ведь слышит, он несомненно слышит мою сказку. Я рассказываю для него. Словам нет преград. Пойми же! Ты смотришь на меня так скорбно и темно. Вспоминаю ночь после похорон. Ты не могла сидеть дома. Мы вышли с тобой в лаковую слякоть. Заблудились. Попали на какую-то странную узкую улицу. Название я прочел, но было оно на стекле фонаря, перевернутое, как в зеркале. Фонари уплывали в глубину. Вода стекалась с крыш. Холодной ртутью наполнились бадьи, что рядами шли по обеим сторонам, вдоль черных стен. Наполнялись, переливались. И вдруг, растерянно разведя руками, ты проговорила: «Он ведь был такой маленький, такой теплый...»

Прости, что я не умею плакать, просто, по-человечески, а все пою, бегу куда-то, цепляясь за все крылья, пролетающие мимо меня, высокий, растрепанный, с волной загара на лбу. Прости. Так надо.

Мы тихо идем вдоль заборов. Кладбище уже близко. Вот оно: островок весенней белизны и зелени среди пыльного пустыря. Теперь иди одна. Я подожду тебя здесь. Глаза твои улыбнулись быстро и стыдливо. Ты ведь хорошо знаешь меня...

Калитка скрипнула и захлопнулась. Я сижу один на жиденькой траве. Поодаль – огород: лиловая капуста. За пустырем – фабричные корпуса, легкие кирпичные громады, плавающие в голубой мути. У ног моих, в песчаной воронке, ржаво блестит продавленная жестянка. Кругом тихо и по-весеннему пусто. Смерти нет. Ветер, как мягкая кукла, наваливается сзади на меня, пуховой лапой щекочет мне шею. Смерти не может быть.

Мое сердце тоже пролетело сквозь зарю. У нас с тобой будет новый золотой сын. Он создан будет из твоих слез и сказок моих. Сегодня понял я, как прекрасны скрещенные в небе проволоки, и туманная мозаика фабричных труб, и вот эта ржавая жестянка с вывернутой полуоторванной зубчатой крышкой. Тусклая травка бежит, бежит куда-то по пыльным волнам пустыря. Я поднимаю руки. По коже скользит солнце. Кожа вся в разноцветных искорках.

И вот хочется мне встать, распахнуть объятия, обратиться с широкой и светлой речью к невидимым толпам. Начать так: «Радужные боги...»

## Говорят по-русски

Табачная лавка Мартын Мартыныча помещается в угловом доме. Недаром табачные лавки питают пристрастие к углам: Мартын Мартыныч торгует бойко. Витрина невелика, но хорошо устроена. Небольшие зеркала оживляют выставку. Внизу, в ухабах голубого бархата, пестреют коробки папирос с названиями на том лощеном международном наречии, которое служит и для названий гостиниц; а повыше в своих легких ящиках скалятся ряды сигар.

В свое время Мартын Мартыныч был благополучный помещик: он знаменит в моих детских воспоминаниях диковинным трактором. А с его сыном Петей мы вместе болели Майн Ридом и скарлатиной, так что теперь, спустя пятнадцать всякой всячиной набитых лет, мне приятно было заходить в табачную лавку на бойком углу, где торговал Мартын Мартыныч.

Впрочем, начиная с прошлого года не одни только воспоминания связывают нас. Есть у Мартын Мартыныча тайна, и в эту тайну я посвящен. «Ну что, все по-прежнему?» – шепотом спрашиваю я, и он так же тихо, с оглядкой отвечает: «Да, слава Богу, все спокойно». Эта тайна совершенно неслышанная. А началось-то с такого пустяка!..

Помню, я уезжал в Париж, и накануне отъезда просидел до вечера у Мартын Мартыныча. Душу человека можно сравнить с универсальным магазином, у которого две витрины – глаза. Судя по глазам Мартын Мартыныча, в моде были теплые, коричневые оттенки; судя по его глазам, товары в его душе были прекрасного качества. А какая густая бородаща, так и блистающая русской крепкой сединой... А плечи, рост, повадка... Некогда шла про него молва, что будто он шашкой разрубает на воздухе платок: подвиг Львиного Сердца! Теперь свой брат, эмигрант, говаривал с завистью: «Не сдал человек!»

Жена его была пухлая, ласковая старуха с бородавкой у левой ноздри. Со времен революционных мытарств у нее на лице жил трогательный тик: она быстро косилась на небо. Петя был того же здоровенного склада, как и отец. Мне нравилась его мягкая сумрачность и неожиданный юмор. У него было большое рыхлое лицо, о котором отец говорил: «Экая морда, в три дня не обойдешь», и рыжевато-русые, всегда взлохмаченные волосы. Пете принадлежал в нелюдной части города крохотный кинематограф, дававший очень скромный доход. Вот и вся семья.

Тот день накануне отъезда, который я провел, сидя у прилавка и глядя, как Мартын Мартыныч принимает покупателей: слегка, двумя пальцами, обопрется о прилавок, потом шагнет к полке, выплеснет коробку и спросит, ногтем большого пальца вскрывая ее: «Айне раухен?»<sup>27</sup>, – тот день мне запомнился вот почему: вдруг с улицы вошел Петя, лохматый и темный от бешенства. Племянница Мартын Мартыныча собралась вернуться к матери в Москву, и Петя только что ходил в представительство. Пока один представитель давал ему справку, другой, явно имевший отношение к политическому управлению государством, едва слышно прошептал: «...шляется всякая белогвардейская шваль...»

«Я бы мог из него сделать кашу, – сказал Петя, хлопнув кулаком о ладонь, – но, к сожалению, вспомнил тетю в Москве».

«Кое-какие грешки у тебя на душе уже имеются», – мягко громыхнул Мартын Мартыныч. Он намекал на чрезвычайно забавный случай. Не так давно, в день своего ангела, Петя отправился в советский книжный магазин, который портит своим присутствием одну из прелестнейших берлинских улиц. Там продаются не только книги, но и всякие кустарные вещицы. Петя выбрал молоток, разрисованный маками и украшенный соответственной для большевистского молотка надписью. Приказчик осведомился, не угодно ли ему еще чего купить? Петя сказал: «Да, угодно» – и кивнул по направлению небольшого гипсового бюста господина Улья-

---

<sup>27</sup> Здесь: одну папиросу? (нем.)

нова. За бюст и за молоток он заплатил пятнадцать марок и затем, ни слова не говоря, тут же на прилавке кокнул этим молотком по этому бюсту, да так, что господин Ульянов рассыпался.

Я любил этот рассказ, как любишь, например, милые прибаутки незабвенного детства, от которых делается тепло на душе. При словах Мартын Мартыныча я со смехом поглядел на Петю. Но Петя угрюмо двинул плечами и насупился. Мартын Мартыныч, порывшись в ящике, поднес ему самую дорогую папиросу в лавке. Однако Петя и тут не прояснился.

В Берлин я вернулся через полгода. Как-то воскресным утром меня потянуло к Мартын Мартынычу. В будни можно было пройти к нему через лавку, так как прямо за ней находилась его квартирка: три комнаты и кухня. Но, конечно, в то воскресное утро лавка была заперта, и витрина опустила свое решетчатое забрало. Я мельком взглянул сквозь решетку на красные и золотые коробки, на смуглые сигары, на скромную надпись в углу: «Говорят по-русски», подумал, что выставка стала как-то еще веселее, и прошел через двор к Мартын Мартынычу. Странное дело – и сам Мартын Мартыныч показался мне еще более веселым, бодрым, ясным, чем раньше. А Петю так и узнать нельзя было: его жирные лохмы были зачесаны назад, широкая, слегка застенчивая улыбка не покидала его губ, он был насыщенно молчалив, и какая-то радостная озабоченность, словно он нес в себе ценный груз, смягчала все его движения. Одна только мать была так же бледна, как прежде, и тот же трогательный тик легкой зарницей мигал по ее лицу. Мы сидели в их опрятной гостиной, и я знал, что остальные две комнаты – Петина спальня и спальня его родителей – такие же уютные и чистые, и эта мысль была мне приятна. Я пил чай с лимоном, слушал мягкий говор Мартын Мартыныча и не мог отделаться от впечатления, что в их квартире появилось что-то новое, какой-то веселый таинственный трепет, как, скажем, бывает в доме, где есть молодая роженица. Раза два Мартын Мартыныч озабоченно поглядывал на сына, и тот сразу поднимался, выходил из комнаты, а по возвращении легонько кивал отцу: все, дескать, обстоит отлично.

Нечто новое и для меня загадочное было и в разговоре старика. Говорили мы о Париже, о французах, и вдруг он спрашивает: «А скажите, голубчик, какая самая большая тюрьма в Париже?» Я ответил, что не знаю, и стал рассказывать об одном тамошнем обозрении, где появляются дамы, выкрашенные в синий цвет. «Это еще что! – перебил меня Мартын Мартыныч. – Вот, например, говорят, что женщины в тюрьмах царапают штукатурку и ею белят себе щеки или, там, шею». В подтверждение своих слов он принес из своей спальни толстый том немецкого криминалиста и отыскал в нем главу о тюремном житье-бытье. Я пробовал переменить разговор, но какую бы тему я ни избирал, Мартын Мартыныч искусными поворотами подвигал ее так, что мы вдруг оказывались рассуждающими о человечности бессрочного заключения по сравнению с казнью или о хитрых способах, которые придумывает преступник, чтобы вырваться на вольный свет.

Я недоумевал. Петя, обожавший всякие механизмы, ковырял перочинным ножом в пружинках своих часов и тихо посмеивался. Его мать вышивала, изредка подталкивая ко мне то сухари, то варенье. Мартын Мартыныч, всей пятерней впившись в свою растрепанную бороду, искоса сверкнул на меня рыжим глазом, и вдруг что-то в нем прорвалось. Он бухнул ладонью о стол и обратился к сыну: «Не могу больше, Петя, все ему расскажу. Иначе лопну». Петя молча кивнул. Жена Мартын Мартыныча встала, чтобы пойти на кухню, и ласково покачала головой: «Какой ты, однако, болтун». Мартын Мартыныч положил руку мне на плечо, тряхнул меня так, что, будь я садовой яблоней, с меня бы яблоки так и посыпались, – и заглянул мне в лицо. «Предупреждаю вас, – сказал он, – я сообщу вам такую тайну, такую тайну... что уж прямо не знаю. Смотрите же – молчок! Поняли?»

И, близко наклонившись ко мне, обдавая меня запахом табаку и собственным крепким старческим душком, Матрын Мартыныч мне рассказал поистине замечательную историю<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Прим. авт. В этой истории, разумеется, все черты и приметы, могущие дать намек на настоящего Мартын Мартыныча,



«Это случилось, – начал Мартын Мартыныч, – вскоре после вашего отъезда. Зашел покупатель. Он, видно, не заметил надписи в окне – обратился ко мне по-немецки. Подчеркнем это: если бы он надпись заметил, то в мою эмигрантскую лавчонку бы не зашел. Я сразу признал в нем русского, по прононсу. Да и рожа у него тоже была русская. Я, конечно, пустил в ход родной язык, спросил, там, в какую цену, какой сорт. Он неприятно удивился, посмотрел как-то так на меня, довольно нахально сказал: “Отчего это вы решили, что я русский?” Я что-то ответил, вполне, кажется, добродушно, и стал отсчитывать для него папиросы. В эту минуту вошел Петя. Он увидел моего покупателя и совершенно спокойно сказал: “Вот это приятная встреча”. Затем мой Петя к нему подходит вплотную и кулачищем трах по скуле. Тот застыл. Как мне потом Петя объяснил, вышел не просто нокаут, когда человек сразу плюхается на пол, а нокаут особенный; Петя, оказывается, ударил с оттяжкой, и тот, стоя, уснул. И как будто стоя спит. Затем он стал медленно клониться назад, как башня. Тут Петя зашел сзади него и подхватил под мышки. Все это было крайне неожиданно. Петя сказал: “Помоги, батя”. Я спросил его, что он, собственно говоря, делает? Петя только повторил: “Помоги”. Я Петю хорошо знаю – нечего тебе там, Петя, ухмыляться, – и знаю, что он человек солидный, тяжелодум и зря людей не оглушает. Мы протащили оглушенного из лавки в коридор и дальше в Петину комнату. Тут я услышал звоночек: кто-то зашел в магазин. Хорошо, конечно, что этого раньше не случилось. Я – обратно в лавку, отпустил товар, потом, к счастью, явилась жена с покупками, и я сразу посадил ее торговать, а сам, ничего не говоря, махом к Пете в комнату. Человек лежал с закрытыми глазами на полу, а Петя сидел у стола и этак задумчиво рассматривал некоторые предметы, как то: большой кожаный портсигар, полдюжины неприличных открыток, бумажник, паспорт, старый, но на вид дельный револьвер. Он сразу объяснил мне, в чем дело: как вы, верно, догадываетесь, это были вещи, извлеченные из кармана человека, а сам человек был не кто иной, как тот представитель, который – ну, помните, Петя рассказывал – прошелся насчет белой швали? – во-во! И, судя по некоторым бумагам, был он самый что ни на есть гэпэушник. Ну хорошо, сказал я Пете, вот ты человека по морде шмякнул – за дело или не за дело – это другой вопрос, – но объясни мне, пожалуйста, как ты теперь намерен поступать? Ты, видно, забыл тетку в Москве? “Да, забыл, – сказал Петя. – Нам нужно что-то придумать”.

И мы придумали. Сначала достали крепкую веревку и полотенце, туго-натуго окрутили его, а полотенцем заткнули рот. Пока мы над ним трудились, он пришел в себя и открыл один глаз. Морда при ближайшем рассмотрении оказалась, доложу вам, поганая и притом глупая; какая-то парша на лбу, усики, нос дулей. Оставив его лежать на полу, мы с Петей удобно расположились по соседству и начали судебное разбирательство. Мы рядили долго. Нас не столько занимал самый факт оскорбления – это была, конечно, мелочь, – нас занимала вся его, так сказать, профессия, его действия в России. Последнее слово было предоставлено подсудимому. Когда мы высвободили полотенце из его рта, он как-то застонал, захлебнулся, но ничего не сказал, кроме: “Вы у меня погодите, вы у меня только погодите...” Полотенце было снова завязано, и продолжалось заседание. Голоса сперва разделились. Петя требовал смертной казни. Я нашел, что он смерти достоин, но предлагал заменить казнь пожизненным заключением. Петя подумал и со мной согласился. Я добавил, что хотя преступления он, конечно, совершал, но проверить этого мы не можем; что преступлением является уже одна его служба; что наш долг состоит только в том, чтобы его обезвредить, и баста. Теперь слушайте дальше.

В конце коридора есть у нас ванная. Комнатка темная-претемная, с беленой железной ванной. Вода частенько бастует. Бывают тараканы. В этой комнатке так темно, оттого что окошко совсем узкое и расположено под самым потолком, – а кроме того, сразу против окошка на расстоянии аршина, а то и меньше – здоровая кирпичная стена. И вот в этой-то камерке мы и решили держать заключенного. Это была Петина мысль – да-да, Петя, кесарево кесарю.

Конечно, сперва нужно было известным образом камеру устроить. Сначала мы перетащили пленника в коридор, чтобы он был поблизости, пока мы работаем. Тут моя жена, которая только что заперла на ночь лавку и шла в кухню, нас и заметила. Она очень удивилась, даже возмутилась, но потом поняла наши доводы. Она у меня тихая. Петя раньше всего распистонил крепкий стол, стоявший в кухне, отбил ему ноги и полученной доской заколотил окошко в ванной. Затем он отвинтил краны, убрал цилиндр, служивший для нагревания воды, и в ванне разложил тюфяк. В следующие дни, конечно, мы вводили всякие улучшения: переменили замок, приделали засов, железом обделали доску в окне, – и все это, понятно, не очень громко; соседей у нас, как вы знаете, нет, но все-таки нужно было действовать осторожно. Получилась настоящая тюремная камера, и в нее мы посадили гэдэушника. Веревку распутали, полотенце развязали, предупредили, что если он будет кричать, то мы его спеленаем снова, да надолго, и, убедившись, что он понял, для кого в ванну положен тюфяк, заперли дверь и всю ночь, сменяясь, сторожили.

С этого времени началась у нас новая жизнь. Я уже был не просто Мартын Мартыныч, а Мартын Мартыныч тюремный надзиратель. Сначала заключенный был так ошеломлен происшедшим, что вел себя тихо. Вскоре, однако, он пришел в нормальное состояние и, когда мы принесли ему обед, открыл ураганную ругань. Не могу повторить, как этот человек бранился: скажу только, что он в самые любопытные положения ставил мою покойную матушку. Решено было хорошенько ему втолковать, каков его юридический статус. Я объяснил ему, что в тюрьме он останется до конца своих лет, что если я умру раньше, то, как наследство, передам его Пете, что мой сын в свою очередь передаст его моему будущему внуку и так далее, и тем самым он станет как бы традицией нашей семьи, фамильной драгоценностью. Между прочим я упомянул и о том, что если, паче чаяния, придется нам переехать на другую берлинскую квартиру, то он будет связан, положен в специальный сундук и преспокойно переедет с нами. Я предупредил его далее, что в одном только случае ему будет дана амнистия. А именно: он будет выпущен на свободу в тот день, когда лопнут большевики. Наконец, я ему обещал, что кормить его будут хорошо, куда лучше, чем меня кормили, когда в свое время я сидел в чрезвычайке, и что, как особая льгота, будут ему выдаваться книги. И действительно, до сего дня он, кажется, ни разу не пожаловался на пищу. Правда, сначала Петя предлагал его кормить воблой, но, как он ни рыскал, воблы в Берлине не оказалось. Приходится его кормить по-буржуйски. Утром, ровно в восемь часов, мы с Петей входим, ставим подле его ванны миску горячего супа с мясом и ковригу серого хлеба. Заодно выносим судно – остроумнейший прибор, который мы специально для него приобрели. В три часа он получает стакан чаю, а в семь часов опять суп. Эта система питания есть подражание системе, применяемой в лучших европейских тюрьмах.

Насчет книг было сложнее. Мы устроили семейный совет и для начала остановились на трех книгах: “Князь Серебряный”, “Басни” Крылова и “В восемьдесят дней вокруг света”. Он объявил, что этих “белогвардейских брошюр” читать не станет, но книжки мы у него оставили, и у нас есть все основания думать, что он их с удовольствием прочел.

Настроения его менялись. Он притих. По-видимому, придумывал что-то. Быть может, он надеялся, что полиция станет его искать. Мы просматривали газеты, но в них не было ни слова о пропавшем чекисте. Вероятно, другие представители решили, что просто человек сбежал, и предпочли замять дело. К этому периоду раздумья относится его попытка ускользнуть или хотя бы дать о себе знать внешнему миру. Он топтался по камере, тянулся, вероятно, к окну, пробовал расшатать доски, пробовал стучать, но мы ему кое-чем пригрозили, и он стучать перестал. А однажды, когда Петя один вошел к нему, он на него кинулся. Петя нежно обнял его и посадил обратно в ванну. После этого случая он опять переменился, стал совсем добрый, даже пошучивал, и, наконец, попытался нас подкупить. Предложил огромную сумму, обещал ее достать через кого-то. Когда и это не помогло, он стал хныкать, а потом браниться пуще прежнего. Сейчас он в стадии мрачного смирения, которое, боюсь, к добру не приведет.

Ежедневно мы его прогуливаем по коридору, а два раза в неделю проветриваем при открытом окне; разумеется, принимаем при этом все предосторожности, чтобы он не кричал. По субботам он берет ванну. Нам самим приходится мыться на кухне. По воскресеньям я читаю ему коротенькие лекции и даю выкурить три папиросы – в моем присутствии, конечно. О чем эти лекции? Да о всякой всячине. О Пушкине, например, или о Древней Греции. Только нет одного – политики. Он политики абсолютно лишен. Словно вообще такой штуки на свете не существовало. И знаете что? С тех пор как я держу одного чекиста взаперти, с тех пор как служу отечеству, я прямо другой человек. Бодр и счастлив. И дела пошли лучше, так что и содержать его не так трудно. Он обходится мне этак марок в двадцать в месяц, считая расход на электричество: у него там совсем темно, так что днем от восьми до восьми горит одна слабая лампочка.

Вы спрашиваете, из какой он среды? Да как вам сказать. Ему двадцать четыре года, сын мужика, школу, даже сельскую, вряд ли кончил, был, что называется, “честный коммунист”, учился только политической грамоте, что по-нашему значит квадратура круглых дураков, – вот и все, что знаю. Да впрочем, если желаете, я вам его покажу. Только помните, помните – молчок!»

Мартын Мартыныч пошел в коридор. Мы с Петей за ним последовали. Старик в своей уютной домашней куртке действительно смахивал на тюремного сторожа. На ходу он вынул ключ, и в том, как он сунул его в замок, было что-то почти профессиональное. Замок дважды хрустнул, и Мартын Мартыныч отпахнул дверь.

Это была вовсе не темная конура, а прекрасная просторная ванная комната, какая бывает в благоустроенных немецких домах. Мягко горел приятный для глаза электрический свет, защищенный расписным веселеньким абажуром. В левой стене сияло зеркало. На столике подле ванны были книги, блестела тарелочка с вычищенным апельсином, стояла непечатая бутылка пива. В белой ванне, на тюфяке, прикрытом чистой простыней, с большой подушкой под затылком, лежал упитанный, яркоглазый, обросший бородой парень в мохнатом купальном халате с барского плеча и в теплых мягких ночных туфлях.

«Ну как?» – обратился ко мне Мартын Мартыныч.

Мне было смешно, я не знал, что сказать.

«Вон там было окно», – указал пальцем Мартын Мартыныч. Окно, точно, было превосходно заделано.

Заключенный зевнул и отвернулся к стене. Мы вышли. Мартын Мартыныч с улыбкой потрогал засов.

«Не убежит, дудки, – сказал он и потом задумчиво добавил: – Интересно все-таки знать, сколько лет он там будет сидеть...»

## Месть

### i

Остенде, каменная пристань, серый штрاند<sup>29</sup>, далекий ряд гостиниц медленно поворачивались, уплывали в бирюзовую муть осеннего дня.

Профессор закутал ноги в клетчатый плед и со скрипом откинулся в парусиновый уют складного кресла. На чистой охряной палубе былолюдно, но тихо. Сдержанно ухали котлы.

Молоденькая англичанка в шерстяных чулках бровью указала на профессора.

– Похож на Шелдона, не правда ли? – обратилась она к брату, стоящему подле.

Шелдон был комический актер, – лысый великан с круглым рыхлым лицом.

– Он очень доволен морем... – тихо добавила англичанка. После чего она, к сожалению, выпадает из моего рассказа.

Брат ее, мешковатый рыжий студент, возвращающийся в свой университет – кончались летние каникулы, – вынул изо рта трубку и сказал:

– Это наш биолог. Великолепный старик. Нужно мне поздороваться с ним.

Он подошел к профессору. Тот поднял тяжелые веки. Узнал одного из худших и прилежнейших своих учеников.

– Переход будет превосходен, – сказал студент, легко пожав большую холодную руку, поданную ему.

– Я надеюсь, – отвечал профессор, пальцами поглаживая серую свою щеку. И повторил внушительно: – Да, я надеюсь.

Студент скользнул глазами по двум чемоданам, стоящим рядом со складным креслом. Один был старый, степенный: как пятна птичьего помета на памятниках, белели на нем следы давнишних наклеек. Другой – совсем новый, оранжевый, с горящими замками, почему-то привлекал внимание студента.

– Позвольте, подвину ваш чемодан, – а то упадет, – предложил он, чтобы как-нибудь поддержать разговор.

Профессор усмехнулся. Не то седобровый комик, не то стареющий боксер...

– Чемодан, говорите? А знаете ли, что я в нем везу? – спросил он, словно с некоторым раздражением. – Не угадываете? Прекрасный предмет!.. Особый род вешалки...

– Немецкое изобретенье, сэр? – подсказал студент, вспомнив, что биолог только что побывал в Берлине на ученом съезде.

Профессор засмеялся сочным скрипучим смехом. Огнем брызнул золотой зуб.

– Божественное изобретение, друг мой, божественное. Необходимое всякому человеку. Впрочем, вы сами возите с собой такой же предмет. А? Или, может быть, вы – полип?

Студент осклабился. Знал, что профессор склонен темно шутить. О старике много толковали в университете. Говорили, что мучит он свою жену – совсем молодую женщину. Студент раз видел ее: худенькая такая, с поразительными глазами...

– Как поживает, сэр, супруга ваша? – спросил рыжий студент.

Профессор отвечал:

– Открою вам правду, мой дорогой друг. Я долго боролся с собой, но теперь принужден вам сказать... Мой дорогой друг, я люблю путешествовать молча. Верю, вы простите меня.

И тут, разделяя участь своей сестры, студент, смущенно посвистывая, навсегда уходит с этих страниц.

---

<sup>29</sup> Взморье (нем. Strand).

А биолог надвинул черную фетровую шляпу на щетинистые брови, так как ослепительно била в глаза морская зыбь, и погрузился в мнимый сон. Серое бритое лицо его, с крупным носом и тяжелым подбородком, было облитое солнцем и казалось только что вылепленным из мокрой глины. Когда на солнце набегало легкое осеннее облако, лицо профессора становилось вдруг каменным – темнело и высыхало. Все это, конечно, было лишь сменой теней и света, а не отражением мыслей его. Вряд ли на профессора приятно было бы смотреть, если бы действительно мысли его отражались.

Дело в том, что на днях он получил из Лондона от наемного сыщика донесение о том, что жена ему изменяет. Перехвачено было письмо, написанное мелким, знакомым почерком и начинающееся так: «Мой любимый, мой Джэк, я еще полна твоим последним поцелуем...»

А профессора звали отнюдь не Джэком. В этом-то и была сущность всего дела. Сообразив это, он почувствовал не удивление, не боль и даже не мужественную досаду, а – ненависть, острую и холодную, как ланцет.

Он понял совершенно отчетливо, что жену свою он убьет. Колебаний быть не могло. Оставалось только придумать самый мучительный, самый изощренный вид убийства. Откинувшись в складном кресле, он в сотый раз перебирал все пытки, описанные путешественниками и средневековыми учеными. Ни одна ему не казалась достаточно болезненной. Когда вдали, на грани зеленой зыби, забелели сахарные скалы Довера, он еще ничего не решил.

Пароход смолк и, покачиваясь, пристал. Профессор последовал по сходням за носильщиком. Таможенный чиновник, скороговоркой перечтя вещи, не подлежащие ввозу, попросил открыть чемодан – новый, оранжевый. Профессор повернул легкий ключик в замке, отпахнул кожаную крышку. Сзади него какая-то русская дама громко вскрикнула: батюшки! – и затем нервно рассмеялась. Двое бельгийцев, стоящих по бокам профессора, взглянули на него как-то снизу; один пожал плечами, другой тихо свистнул. Англичане бесстрастно отвернулись. Чиновник, взятый врасплох, выпучил глаза на содержимое чемодана. Всем было очень жутко и неловко.

Биолог холодно назвал себя, упомянул университетский музей. Лица прояснились. Опечалились только несколько дам, поняв, что преступления не произошло.

– Но почему вы возите *это* в чемодане? – с почтительным укором спросил чиновник, осторожно опустив крышку и чиркнув мелом по яркой коже.

– Я торопился, – сказал профессор, устало жмурясь, – некогда было заколачивать в ящик. Притом вещь ценная, в багаж я не отдал бы.

И профессор сутулой, но упругой поступью прошел на дебаркадер, мимо полисмена, похожего на громадную игрушку. Но внезапно он остановился, как бы вспомнив что-то, и со светлой, доброй улыбкой пробормотал: «А! Найдено... Остроумнейший способ...» Затем облегченно вздохнул, купил два банана, пачку папирос, хрустящие простыни газет и через несколько минут летел в уютном отделении континентального экспресса вдоль сияющего моря, вдоль белых откосов, вдоль изумрудных пастбищ Кента.

## ii

Действительно чудесные глаза... Зрачок – что блестящая капля чернил на сизом атласе. Волосы – подстриженные, бледно-золотые: шапка пышного пуха. Сама – маленькая, прямая, с плоской грудью.

Она ждала мужа уже накануне, а сегодня наверное знала, что он приедет. В сером открытом платье, в бархатных туфельках, сидела она на павлиньей тахте, в гостиной, и думала о том, что напрасно муж не верит в духов и откровенно презирает молодого шотландца-спирита с белыми нежными ресницами, который иногда у нее бывает. Ведь с нею и впрямь случаются странные вещи. Недавно во сне ей явился покойник-юноша, с которым до замужества

она блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика. Утром она, еще как бы в дремоте, написала ему карандашом письмо – письмо своему сновидению. В этом письме она солгала бедному Джэку. Ведь она его почти забыла, любит испуганной, но верной любовью своего странного, мучительного мужа, – а меж тем хотелось теплотою земных слов согреть, ободрить милого, призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из бювара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под которого вдруг вылез Джэк и благодарно закивал ей... Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон... Словно она мужу изменила с призраком...

В гостиной было тепло и нарядно. На широком низком подоконнике лежала шелковая подушка, ярко-желтая в фиолетовую полоску.

Профессор приехал в ту самую минуту, когда она решила, что пароход его пошел ко дну. Выглянув из окна, она увидела черный верх таксомотора, протянутую ладонь шофера и тяжелые плечи мужа, который, нагнув голову, платил. Пролетела по комнатам, просеменила вниз по лестнице, качая худенькими оголенными руками.

Он поднимался ей навстречу, сутулый, в широком пальто. За ним слуга нес чемоданы.

Она прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую, в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки.

– Я запылен... погоди... – пробормотал он, держа ее за кисти.

Она, жмурясь, тряхнула головой – бледным пожаром волос.

Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы, усмехнулся опять.

За ужином, выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми скулами, он рассказывал о своем недолгом путешествии. Был сдержанно весел. Крутые шелковые отвороты его жакета, бульдожья челюсть, лысая громадная голова с железными жилками на висках – все это возбуждало в жене его чудесную жалость: так жаль ей было всегда, что он, изучающий все пылинки жизни, не хочет войти к ней в мир, где текут стихи Деламара и проносятся нежнейшие астралы.

– Что, постукивали без меня твои призраки? – спросил он, угадав ее мысли.

Ей захотелось рассказать ему о сновидении, о письме, – но было как-то совестно...

– А знаешь, – продолжал он, осыпая сахаром розовый ремень, – ты и твои друзья играют с огнем. Действительно странные бывают вещи. Мне один венский доктор на днях рассказывал о невероятных перевоплощениях. Женщина одна, – гадалка такая, кликуша, – умерла – от разрыва сердца, что ли? – и когда доктор раздел ее – это было в мадьярской лачуге, при свечах, – то тело этой женщины поразило его: оно было все подернуто красноватым блеском, мягкое и склизкое на ощупь. И приглядевшись, он понял, что это тело, полное и тугое, сплошь состоит как бы из тонких круговых поясков кожи, – словно оно было все перевязано – ровно, крепко – незримыми нитками, – или вот есть такая реклама шин французских – человек, состоящий из шин... Только у нее шины эти были совсем тонкие и бледно-красные. И пока доктор смотрел, тело мертвой стало медленно распутываться, как огромный клубок... ее тело было тонким, бесконечно длинным червем, который разматывался и полз – уходил под дверную щель, – и на постели остался голый, белый, еще влажный костяк... А ведь у женщины этой был муж, – он когда-то целовал ее, – целовал червя...

Профессор налил себе рюмку портвейна цвета красного дерева и стал пить густыми глотками, не отрывая сощуренных глаз от лица жены. Она зябко повела худыми, бледными плечами...

– Ты сам не знаешь, какую страшную вещь ты мне рассказал, – проговорила она взволнованно. – Значит, дух женщины ушел в червя... Страшно все это...

– Я иногда думаю, – сказал профессор, тяжело выстрелив манжетой и рассматривая свои тупые серые пальцы, – что в конце-то концов моя наука – праздный обман, что физические

законы выдуманы нами, что все, решительно все, может случиться... Те, кто предаются таким мыслям, сходят с ума...

Он заглушил зевок, постукивая сжатым кулаком по губам.

– Что с тобой случилось, друг мой? – тихо воскликнула его жена. – Ты никогда так не говорил раньше... Мне казалось, ты все знаешь... все разметил...

На мгновение судорожно раздулись ноздри у профессора, вспыхнул золотой клык. Но тотчас же его лицо обмякло снова.

Он потянулся и встал из-за стола.

– Болтаю я... пустое... – сказал он ласково и спокойно. – Я устал... Спать пойду... Не зажигай свет, когда войдешь. Прямо ложись в нашу постель... В нашу, – повторил он значительно и нежно, как давно не говорил.

Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной.

Пять лет была замужем она, и несмотря на причудливый нрав мужа, на частые вихри его беспричинной ревности, на молчанье, и угрюмость, и непонятливость – она чувствовала себя счастливой, так как любила и жалела его. Она, тонкая, белая, – он, громадный, лысый, с ключьями серой шерсти посередине груди, составляли невозможную, чудовищную чету, – и все же ей приятны были его редкие сильные ласки.

Хризантема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков.

Она вздрогнула, неприятно екнуло сердце, ей вспомнилось, что воздух всегда полон призраков, что даже ученый муж ее отметил их страшное проявление. Вспомнилось ей, как Джэки вынырнул из-под стола и с жуткой нежностью ей закивал. Показалось, что в комнате все предметы выжидательно на нее смотрят. Ветер страха обдал ее. Она быстро вышла из гостиной, удерживая нелепый крик. Передохнула: какая я, право, глупая... В туалетной комнате долго разглядывала в зеркале свои блестящие зрачки. Ее маленькое лицо в шапке пушистого золота показалось ей чужим...

Легкая, как девочка, – в одной кружевной сорочке, – она вошла, стараясь не задеть мебель, в темную спальню. Протянула руки, нащупала изголовье постели, легла с краю. Знала, что не одна, что муж лежит рядом. Несколько мгновений неподвижно глядела вверх, чувствуя, как дико и глухо бухает сердце в груди.

Когда глаза ее привыкли к темноте, пересеченной полосками луны, льющейся сквозь кисейную штору, она повернула голову к мужу. Он лежал спиной к ней, закутавшись в одеяло. Она только видела его лысое темя, которое казалось необычайно гладким и белым в луже лунного света.

«Не спит, – ласково подумала она, – если бы спал, то похрапывал...»

Улыбнулась – и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятья. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо.

\* \* \*

Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из-за ширмы и подошел к постели.

Одеяло, простыни, спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое-как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университетского музея.

## Благость

Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно, изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле, словно у входа в эту гушевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки, – одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу – что-то крошилось, потрескивало под ногой – и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие, как клочья рваных знамен, вдоль покатога стекла. Впустив утро – прищуренное, жалкое, – я рассмеялся, сам не знаю чему, – быть может, тому, что вот, я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина, – и думал о тебе.

Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движение; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а почему любил – не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.

Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окуроч, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я две недели не видел тебя.

Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет окна видны были черепичные крыши Берлина – очертания их менялись благодаря неверным внутренним переливам стекла, – и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновение легкую изумленную осеннюю синеву.

Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была быющей, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.

Когда после обеда я вышел на улицу – встретить тебя, – голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.

Я шел и думал о том, что, верно, на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.

Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Было людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой портфель, в глазах – мутная тошнота, что бывает, когда натошак выкуришь плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже колен. И еще другие.

Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.

А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток – открытки, планы, веера цветных снимков, – а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, с круглым, рябым лицом, – и тоже ждала.



Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится – покупатель или ты? У старушки был вид вот какой: «Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то лоток – очень хорошие, любопытные вещицы. Но я – ничего...»

Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впиваясь яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушая ему: купи, купи... – но тот, окинув взглядом цветные и серые снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.

Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза, – и нарочно не смотрел, дорожил самообманом.

Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика – желтый плюш, сборки у поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на табурете, осталась книга – путеводитель по Берлину, – и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.

Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.

А старушка уселась снова, и, так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.

Прошло уже с час, – быть может, больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились, придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.

Старушка, аккуратно переложив в книге закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из «Адлона», который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей, вероятно, нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне вспоминался телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер. Я поднял воротник.

И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движением подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную глубину его зеленое плечо.

Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком – если судить по коричневой бахrome пенки, приставшей к краю.

И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца, – и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахrome пенки, грела ладони о теплую жесь. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась, – и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.

Допила. На мгновение застыла. Потом встала и направилась к окну – отдать пустую кружку.

Но, не доходя, она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась она обратно к лотку, выдернула две цветных открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, и старушка сунула в черное окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, медленно прикрывая за собою раму.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.